



А. С. Стрекалов

Невыдуманная история

Лирическая повесть

Александр Стрекалов

Невыдуманная история

«ЛитРес: Самиздат»

2017

Стрекалов А. С.

Невыдуманная история / А. С. Стрекалов — «ЛитРес: Самиздат»,
2017

ISBN 978-5-5321-2551-3

История первой любви молоденького студента-москвича, приехавшего на стройку в Смоленскую область в середине 1970-х годов, к провинциальной деревенской девушке: как у обоих всё стремительно и неожиданно произошло, красиво и возвышенно протекало, и чем в итоге закончилось? Всё это можно узнать, дочитав “Невыдуманную историю” до конца. А попутно понять, как жили, работали и само-реализовывались простые советские люди на переломе двух глобальных эпох - коммунистической и демократической... На обложке - картина В. М. Васнецова «Ковёр-самолёт» 1919-1926 гг.

ISBN 978-5-5321-2551-3

© Стрекалов А. С., 2017
© ЛитРес: Самиздат, 2017

*“ Никуда от юности не деться,
Потому что там, в погожий день,
Лепестки осыпала мне в сердце
Белая тяжёлая сирень.*

*Потому что там, где бродят травы,
Налитою зеленью шумя,
Тихо, неумело и лукаво
Целовала девочка меня...”*

Владимир Соколов

1

В стройотряд он мечтал поехать в школе ещё, будучи совсем ребёнком, когда по родным московским улицам у себя на Соколе ошалело носился и встречал в огромном количестве весною и осенью, особенно возле метро, парней и девчат в стройотрядовских зелёных куртках с эмблемами МАИ на рукавах, с названиями разных строек на спинах, – или готовившихся уезжать из Москвы, или в Москву вернувшихся. Помнится, они все героями казались ему, сорванцу, взиравшему на них почтительно, хозяевами-творцами жизни, что и думать, прилежно учиться умели, отличниками в школе были все как один, и топором после тяжёлой учёбы лихо махать – не хуже профессиональных плотников. И личностями превеликими они ему представлялись – не пустозвонами. За то, что стыдились на шее, свесив ножки, сидеть, а наоборот – пытались смолodu сами себе на хлеб заработать: построить что-то приличное, облагородить и оживить; а потом получить за добросовестный труд зарплату. Которая станет хорошим довеском к стипендии и самостоятельными их сделает, обуься, одеться позволит, родителям в рот не смотреть, не мучить их дополнительными поборами. Самостоятельность и созидание он всегда ценил: это были первейшие и главнейшие для него с малолетства качества.

Да и родители его, сами студенты бывшие, боготворили таких молодых людей, в пример ему их неизменно ставили; и в школе про них педагоги с восторгом всегда отзывались. И по телевизору студентов-строителей в самом выгодном свете тогда ежегодно показывали – красивых, статных, мужественных как на подбор, загорелых, задорных и волевых: как самозабвенно трудятся они всё лето, не покладая рук, на какой-нибудь важной стройке, ощутимую пользу таким добровольным трудом государству и народу приносят; сколько за июль и август всего успевают сделать; какие немыслимые горы наворотить. Всё это действовало на него, до работы и подвигов жадного, распаляло, завистью отзывалось в душе. Хотелось им подражать, пойти, когда выйдет срок, по проторенной ими дорожке: непременно в МАИ поступить, повзрослеть, поумнеть, хорошо первый курс отучиться. Весеннюю сессию успешно сдать, в студенческий строительный отряд записаться. После чего уехать вместе со всеми в деревню в июле, лопатой, мастерком там на свежем воздухе помахать два летних благодатных месяца вдалеке от столичного шума, пекла и толкотни, след свой крохотный на земле оставить, стяжать благодарную память сельчан. Ну и, конечно же, у костра посидеть вечерком, песен хороших послушать... и молока парного вволю попить, до которого он был большой охотник.

Неудивительно, что как только герой наш, Мальцев Андрей, какое-то время спустя, повзрослев и школу-десятилетку закончив, переступил порог в сентябре Московского авиационного института, в который он в августе перед этим успешно экзамены сдал, студенческий билет получил на руки и полноправным студентом себя почувствовал, – неудивительно, что после этого он почти сразу же про летнюю стройку стал упорно задумываться: объявления на

факультете регулярно бегал читал, летних работ касавшиеся, разузнавал у старшекурсников, соседей по дому, любые про стройотряд подробности.

Под конец осеннего семестра он уже твёрдо знал, всё разведав доподлинно, что на факультете у них стройотрядов существует с десяток. Но только два коллектива – “Солнышко” и “VITA” – котируются очень высоко. Там, по рассказам студентов, и хлопцы рукастые подобрались, и заработки всегда хорошие, отменная дисциплина труда. И места работы и отдыха постоянные на протяжении последних пяти-шести лет, где их уже знали по именам и фамилиям, ценили, любили и ждали как родственников – и старики деревенские, и молодёжь. Поэтому-то коли уж ехать куда-то работать летом, законный свой отдых тратить, – то непременно туда. Осенью хоть не обидно будет за потраченные каникулы и дополнительный труд: деньги большие, в Москву привезённые, компенсируют тогда всё – все затраты физические и моральные, все издержки.

Были у них в институте ещё и отряды торговые. Записавшиеся туда студенты никуда не ездили летом, оставались с родителями в Москве: торговали минеральной водой и соками в разлив на центральных столичных улицах, пирожками, квасом, мороженым, дынями и арбузами начиная с августа. И тоже неплохо зарабатывали, по слухам: «приличные бабки на обвесе и недоливе наваривали, на пересортице», – как с гордостью любили они потом говорить, хвастаться однокурсникам. Но такие отряды Андрей не рассматривал даже: торговлю всегда презирал, равно как и самих торгашей, что в палатках и магазинах работали и дурили по-чёрному москвичей, левые рубрики из них выколачивая... Да и не хотелось ему, плюс ко всему, еще и летом в Москве по жаре болтаться, ежедневные родительские наставления слушать, по их жёстким указкам жить, которые ему, повзрослевшему пареньку, здорово досаждали стали. В деревню хотелось – на молоко и природу, на взрослую вольную жизнь, которая из душной и шумной Москвы чуть ли ни раем земным представлялась...

После Нового года, сдав первую свою сессию и отдохнув, в хоккей во дворе поиграв две недели, на бал первокурсников в бывшую школу наведавшись, Андрей, придя в институт в феврале, уже вплотную стройотрядом занялся с намерением записаться туда, войти в трудовой коллектив, поездить на субботники и воскресники с товарищами. И там попробовать поплотней притереться к ним, работягой себя показать, энтузиастом стройки. А попутно и атмосферу тамошнюю почувствовать, что тоже немаловажно, узнать её изнутри: подойдёт она ему, не подойдёт; примут его старожилы, не примут. Дальше тянуть уже было нельзя: март надвигался стремительно, стремительно накатывала весна. Затянешь с записью – останешься с носом. И будешь всё лето в Москве тогда “куковать”, по двору да по подъездам дурачком слоняться.

В “Солнышко”, как понял он, по институту полгода перед тем побегав, попасть не представлялось возможным. Там коллектив был сложившийся, одни старшекурсники и аспиранты подобрались, которые знали чего хотели и в стройотряд ежегодно не за романтикой, а за большими деньгами ездили, “пахали” там от зари до зари все два месяца, порою прихватывали и сентябрь, когда объекты особенно денежные попадались. И потому сопливых мальчиков-первогодков они на стройку не брали, справедливо считая их обузой себе... А вот в “VITA” попасть было можно: там смена поколений произошла, были места вакантные. Потому набирался и молодняк – не много, но набирался. В объявлении, во всяком случае, что увидел Андрей в феврале возле учебной части, так прямо и было написано: *«Студенческий строительный отряд “VITA” проводит собрание своих бойцов в аудитории 13-20. Явка всех обязательна. Приглашаются и новички с младших курсов, желающие записаться, ударно поработать на стройке летом, хорошо отдохнуть. Им будут предоставлены такие шансы».*

Андрей обрадовался как ребёнок, объявление то желанное прочитав, глазами его пробежав не единожды, загорелся, завёлся, в назначенное время пришёл, с собой на собрание даже товарища притащив из группы. Зайдя в аудиторию 13-20, сел с дружкой за последний стол, из-

за которого понадеялся всё получше высмотреть и понять, прочувствовать понадежнее, всех запомнить.

Последний стол не подвёл его, и за время полуторачасового собрания он понял, из уголка своего как сычонок встревоженный на всех посматривая, что костяк ССО “VITA” составляли рабфаковцы, полтора года назад поступившие к ним в институт с дополнительного рабочего потока, к которым примкнули доверчиво с десятков тогдашних юнцов-первокурсников. Теперь они все, около двадцати человек в общей сложности, учились на втором курсе, сидели важные в стройотрядовских куртках, вальяжные, гордые как кавказцы на рынках, и взирали на пришедших на собрание первокурсников чуть-чуть свысока, придирчиво их изучали на предмет того, кого им взять в отряд, а кого и отфутболить, от кого будет польза на стройке, а кто превратится в лишнего едока, любителя лёгкой наживы. Первокурсники понимали, что решается их судьба, – потому и сидели смущённые за столами, краснели, бледнели, ёрзали под колючими взглядами – нервничали, короче. Их набралось человек пятнадцать со всего факультета. Так что конкурс предполагался большой: необходимо было себя показывать.

В назначенное время в аудиторию бодро вошли командир с мастером, стройотрядовское руководство, стали здороваться с бойцами отряда за руку, всех по очереди переписывать. Обоим было по двадцать три года уже – “старики”, “деды” для таких пацанов как Мальцев. Оба были рабфаковцы, в армии отслужившие. У командира, Толика Шитова, на рукаве красовалось уже пять нашивок по количеству проведённых на студенческих стройках лет: он ездил в отряды до армии ещё, когда в электронном техникуме учился. Да пару раз успел съездить, будучи рабфаковцем и студентом МАИ. В прошлом году – в качестве командира.

Командир с мастером переписали пришедших, всех внимательно рассмотрели, молодых пареньков – в особенности; потом рассказали подробно о ближайших для вверенного им коллектива планах: о субботниках и воскресниках, спартакиаде весенней, смотре художественной самодеятельности. Рассказывая, они выясняли бегло про скрытые способности новичков: кто из них может в спорте отряду помочь, кто – в агитбригаде. Прежних-то своих бойцов они хорошо знали, а вот молодёжь ещё предстояло узнать, в деле её проверить. Про субботники напомнили особенного строго, к первокурсникам в первую очередь обращаясь, что ходить-де на них обязательно, потому как там и будут придирчиво просматриваться кандидаты, там будет проходить основной отбор.

«Знайте и помните главное, – сказали они под конец, аудиторию окинув многозначительно и молодяк держа “под прицелом”, – что мы планируют взять в отряд из новеньких человек пять всего. От силы – шесть. Большого количества бойцов нам на строительстве не потребуется. Так что не обессудьте, мужики, и за нами потом не бегайте, не нойте, не предъявляйте претензий».

На том собрание первое и закончилось...

Ну а потом были обещанные субботники и воскресники, почти что еженедельные, спартакиада в мае, смотр художественной самодеятельности, где первокурсники-кандидаты рвались изо всех сил, стараясь себя показать руководству в самом выгодном виде: остервенело махали граблями и мётлами на МКАДе и на Ленинградском шоссе, по институтскому стадиону носились отчаянно, песни со сцены под гитару горланили, актёрами на время став, – в общем, делали, что могли, на что только были способны. А в середине мая, перед самой сессией, стройотряд “VITA” собрался последний раз, и командир громогласно объявил список тех, кого они с мастером решили зачислить.

Андрей Мальцев в тот заветный список попал и после собрания долго не мог и не хотел скрывать своих бурных от произошедшего события чувств. А когда через несколько дней он ещё и куртку зелёную, новенькую с эмблемами нарукавными получил, яркими и разноцветными, да надел её прямо в аудитории, – тут уж и вовсе он готов был петь и плясать от радости

и от счастья! Так потом и ходил в той куртке обклеенной по дому и институту с неделю – важничал, щеголял, козырился, тайно любовался собой: хорош, мол, чертяка! хорош! – и статен, и умён, и трудоспособен! А как ещё ему было себя вести? чего робеть? чего скромничать? – когда, во-первых, давнишняя его мечта сбылась, им так страстно со школьной скамьи лелеянная, а во-вторых, он теперь уже точно полноправным студентом стал: его куртка новенькая стройотрядовская сама за себя говорила...

Половину мая и весь июнь он пыхтел в читалках и душных аудиториях, зачёты сдавал, экзамены, которых было не счесть и которые много сил отняли; потом, покончив с этим со всем, печать себе получив в зачётку, свидетельствующую о его на второй курс переводе, он несколько дней отдыхал и отсыпался дома, здоровье и нервы свои восстанавливал, гудевшую голову разгружал, и попутно вещи в рюкзак собирал, боясь что-нибудь упустить, без чего ему было не обойтись в деревне. А 2 июля вечером в составе ССО “VITA” он уезжал с Белорусского вокзала в Смоленск, где ему два месяца предстояло работать на стройке, растрачивать удалую свою – и силушку дурную, немереную.

Завалив весь перрон вещами, проходы собою загородив и сильно озлобив этим носильщиков и пассажиров, отъезжавшие из столицы студенты часа три тогда по перрону болтались без дела, дожидаясь нужного поезда. Чтобы скоротать время, пели песни студенческие под гитары, балагурили, пили вино, с Москвою прощались украдкой, некоторые – с родителями, что на вокзал их пришли проводить и до последней минуты чадушек своих удалых от себя отпускать не хотели: всё воспитывали и наставляли их, давали советы. Потом студенты-строители с шумом в поезд полезли, который к перрону медленно подкатил, и целую ночь не спали почти: опять балагурили, пели и пили, по вагонам друг к дружке мотались, курили в тамбуре без конца, анекдоты травили, к девушкам-проводницам прикалывались. Утром в Смоленск приехали сонные все, охрипшие, помятые и похмельные. И прекрасный древний город Смоленск остался незамеченный ими, непознанный и неоценённый. Они даже не удосужились его на подъезде из вагонных окон повнимательнее рассмотреть: они половину своих вещей чуть было не растеряли при выходе.

Похмельных и сонных, их посадили в автобус, предварительно пересчитав, повезли в деревню Сыр-Липки, что находилась на северо-западе от областного центра, в 25 километрах от него, в которой уже шесть лет располагалась база их стройотряда, насиженное прежними студентами-москвичами место. И они, бойцы ССО “VITA”, и Мальцев Андрей в том числе, опять безнадёжно всё пропустили, все красоты и достопримечательности смоленские, леса необъятные и поля, родину Гагарина и Твардовского, – потому что спали все сном мертвеца до самого лагеря, плотно прижавшись друг к другу, видели сладкие сны. И только на месте они наконец пробудились, в сознание, в чувства пришли; только тогда древний и живописный край Смоленский по-настоящему рассмотрели и оценили; а оценив, полюбили и порадовались за себя. В том смысле, что повезло им с деревней и базой отдыха, в которой два летних месяца им предстояло жить, коротать на досуге время, от строительных дел отдыхать, отлёживаться и отсыпаться...

2

Деревня Сыр-Липки, куда ближе к полудню Мальцева с его новыми товарищами привезли, широко и привольно раскинулась по берегам крохотной и мелководной речушки Жереспея, на холмистой и лесистой местности. Во второй половине 1970-х годов она, деревня, была ещё достаточно многолюдной и бездотационной, приносила государству пусть мизерную, но пользу в виде картошки, хлеба и молока. Хотя и тогда уже ощущалось повсюду катастрофическая нехватка молодых рук. Мужских – в особенности. Молодые парни, уходя после школы в армию, уже не возвращались назад, по-возможности зацеплялись за города, где жизнь полегче

была, повольтоннее и повеселее. Из-за чего многолюдное некогда сельское поселение с годами деградировало и вымирало, приходило в упадок. Там процветали пьянство и пессимизм. Оставшимся под родительским кровом девчатам, кто в институты и техникумы не поступили, не умотали в чужие края, уже было проблематично создать семью, детей нарожать, пустить корни. Одинокая старость ожидала их, которую они все боялись... Поэтому жить и работать на родине им, несчастным перезревшим девам, ни разу не тронутым мужиками, было одиноко, холодно и ужасно тоскливо в компании стариков, от которых не было проку. По этой причине они были рады-радехоньки приезжавшим на лето студентам-строителям, которых весь год с нетерпением ждали, готовы были любому на шею броситься и бурный роман закрутить, пусть только и на два месяца.

В центре деревни, на крутом берегу Жереспей, да ещё и на возвышенности находилась местная достопримечательность – бывшая усадьба помещиков Тихановских, построенная во второй четверти XIX века. Двухэтажный прямоугольный дом приличных размеров из красного кирпича в стиле запоздалого классицизма красовался в центре холма в зелёном обрамлении столетних клёнов и лип, вокруг которого раскинулся огромный запущенный парк с заболоченным уже и тогда, в 1970-е годы, прудом. В советское время усадьбу отдали под школу, сделали царский подарок местным детишкам. И вот в этой-то школе, точнее – в двух корпусах её деревянного общежития, база ССО “VITA” и находилась; сюда не выпавшихся московских студентов и доставили аккуратненько на автобусе 3 июля 1976 года.

Про сырлипкинскую школу коротко скажем, что была она по статусу своему семилетка и единственная на несколько деревень, потому и пристроили к ней общежитие со временем. С таким расчётом, чтобы ученикам младших классов, крохам немощным, слабым, кто непосредственно в Сыр-Липках не жил и вынужден был сюда из других мест добираться, – чтобы им каждый день по несколько километров из дома и домой не ходить, силёнки сберечь и жизни. Тут же построили для них и столовую, баньку небольшую, умывальную комнату. И школа ввиду такой заботливой перестройки уже в интернат превратилась, в котором первоклашки уютно жили с сентября по май, а летом который от санатория было не отличить: зелень кругом буйствовала как в лесу, простор, тишина идеальная царили повсюду. А всё из-за того, что не единой частной постройки поблизости не наблюдалось, не единой живой души, включая сюда и кур: для колхозников приусадебная территория была запретной зоной, куда они и сами не заходили без надобности, и скотину где не выгуливали. Поэтому студентам московским было хорошо и вольготно здесь находиться, на свежем смоленском воздухе: удобно, уютно, максимально комфортно. Кто из них мечтал в деревне на природе пожить – тот не ошибся и не разочаровался нисколько: обстановка и окрестный пейзаж были почти что курортными.

Даже и речка собственная протекала под боком – мелкая, правда, узенькая и неказистая, рядом со школой густо зарослями окружённая. Но зато очень и очень чистая – как слеза! И студенты в жаркие дни как в ванной в ней мылись: кто – полусидя, кто – полужёжа... Долго вот только лежать в той речушке было нельзя: вода в ней была как в колодце глубоком холодная, быстро сводила ноги и руки. Реально было и заболеть...

Приехав на место к двенадцати, опомнившись и протрезвев, вещи из автобуса вытащив, студенты-строители по двум корпусам общежития разбрелись – койки понравившиеся занимать, заправлять их простынями и наволочками, в одежду казённую переодеваться, а свою – в рюкзаки убирать. После чего все дружно двинулись воду из школьной колонки таскать на кухню и в умывальники... Потом у них в лагере был лёгкий обед в интернатовской столовой, наскоро студентками-поварами приготовленный, потом – собрание организационное, где командир им план работы обрисовал, рассказал про распорядок и дисциплину. И только после этого измученные долгой дорогой парни получили себе свободу на весь оставшийся день: могли по окрестным полям походить и лесам, с деревней поближе познакомиться. А кто тут

был уже в прошлый год, кому это было не интересно, не важно, – те на койки застланные завалились: книжки, газеты читать или просто лежать отдыхать, к клубу, танцам готовиться, силы копить на вечер.

Деревня Сыр-Липки большая была по размерам, больше похожая на село. Селом она и была когда-то, покуда не выродилась с годами, не растеряла мощь и удаль свою. Были здесь клуб, магазин, была почта. Пилорама собственная имелась, мастерские тракторные, новая кузня. Высоченный элеватор гордо на окраине красовался, зернохранилище, ток. За элеватором рядами длинными шли сырлипкинские коровники.

Но, главное, было в деревне много девушек молодых – и местных, проживавших на постоянной основе, работавших на селе, и временных, кто у родителей или родственников целое лето гостили, проводили студенческие каникулы. Москвичи это сразу отметили, ещё когда по центральной улице проезжали: за каждым плетнём, каждым сараем, каждой калиткой и дверью мелькали прелестные глазки, за долгожданным автобусом следившие пристально, страстно, зрачками огненными прожигавшие мутные стёкла насквозь, так что у пассажиров столичных, кто успел пробудиться и прислониться к окну, мурашки пробежали по коже от стихийно-нахлынувших чувств, сладко сосало под ложечкой в предвкушении чего-то сладкого и чрезвычайного.

Студенты-рабфаковцы и третьекурсники, командиром отпущенные до утра, по приезду дружно спать улеглись – добирать, что упустили за ночь, когда кутили в поезде. Проснувшись же, когда солнце уже клонилось к закату, и наскоро опять перекусив, взбодрив себя крепким чаем в столовой, они толпой побежали в клуб, хорошо им по прошлому году известный, – чтобы первый танцевальный вечер в клубе незамедлительно организовать, зазнобушек прошлогодних встретить, с новыми знакомство свести, закрутить так сказать шуры-муры. Дело это известное и понятное, и для неженатых парней извинительное – такая к клубам и танцам, молоденьким девушкам тяга. Всё это жизнью именно и зовётся. На этом мир и покой человеческий держится и стоит, и будет стоять долго.

Герой наш, Мальцев Андрей, валяться на койке не стал, даже и не присел на неё, качество пружин не испробовал: не для того он в деревню ехал, чтобы бока отлёживать. После обеда он сразу же на конюшню отправился с вьетнамцем Чунгом, про которую тот ему по дороге рассказывал: что много там лошадей, и есть среди них и породистые; что здешний конюх-пастух, зовут которого дядя Ваня, мужик хороший, простой и совсем не жадный; и что ежели с ним познакомиться и подружиться – можно будет по субботам у него запросто лошадей приходить брать и сколько хочешь верхом кататься.

Для Андрея тот рассказ дорожный прямо-таки бальзамом на душу стал, потому как к лошадям он тягу имел великую с малолетства, к лошадям и деревне, которую видел только в кино, и поэтому сильно идеализировал. Насмотрится фильмов, бывало, про “райскую” колхозную жизнь: “Юркины рассветы” какие-нибудь или “Русское поле”, – как всё у них там хорошо и осмысленно протекало, неспешно, несуетно, незлобиво; как жили люди, колхозники местные, счастливо, пахали поля бескрайние, сажали хлеб, пасли скот, как кормили потом тем хлебом и молоком горожан-дармоедов. И ему и радостно делалось от такой кинематографической красоты, и ужасно грустно одновременно. Он, дурачок наивный, после каждого такого просмотра себя уже в неоплатном долгу перед крестьянами начинал считать за их продукты питания, коренной горожанин, москвич, считал себя полностью от них зависимым – и потому ущербным, убогим, пустым, чуть ли ни паразитом. Он и работать-то поехал в деревню из-за того, может быть, чтобы крестьянином на время стать, подспудно жившее в нём чувство вины перед деревенскими мужиками и бабами сгладить. И к цивилизации их диковинной прикоснуться, естественно, посмотреть – какая она изнутри, порядок, настрой, красоту её самому ощутить, и оценить по-достоинству. А заодно и понять – какая она есть “на вкус”, их сермяжная правда-матка.

А ещё он частенько мечтал с малых лет верхом на лошадях покататься, которых почему-то страстно любил, непонятно почему даже, которые казались ему из Москвы самыми умными и преданными человеку животными... Наверное, фильмы были, опять-таки, виноваты, в которых прославлялись деревня, колхоз, и которые он дома запоем смотрел вечерами: как конопатые деревенские парни там в ночное без родителей ездили, пасли лошадей табуны, скакали на них, посвистывая, по изумрудным колхозным полям, ни страха не ведая, ни усталости. Вот и хотелось ему самому – до одури, до боли мечталось! – в ночное с теми парнями когда-нибудь съездить, на лошадь молодую лихо, по-кавалеристски вскочить и также удало и отчаянно на ней во всю прыть промчатся, подставляя свистящему ветру горячее лицо и грудь, неописуемое блаженство от скачки той удалой испытывая!... А как хорошо, как соблазнительно Лермонтов про лошадей писал, про Карагёза того же; с какой любовью и нежностью про них неизменно рассказывал в своих повестях и романах Шолохов! А ведь это были любимые писатели у Андрея, безоговорочные властители его школьных и студенческих дум. Вот он и потащил дружка своего нового Чунга сразу же на конюшню, которую тот ему из окна автобуса показал, когда они, полусонные, проезжали мимо.

Конюх деревенский на месте присутствовал к радости Мальцева. Был, по-обыкновению, здорово пьяненький после обеда и спяну приехавшим москвичам много чего интересного наобещал. Заявил с пьяных глаз, бродяга, что, мол, приходите, парни, в любое время, берите лошадь любую, какая больше приглянется, седёлку, узду, подпругу – и катайтесь потом сколько хотите, пока ягодицы молочные в кровь не собьёте, пока у вас в глазах не зарябит и спина не занает от тряски. Довольные москвичи поверили, возрадовались и ушли, дяде Ване крепко руку пожав напоследок, и, добрым словом его меж собой поминая, по окрестным полям слоняться направились, деревню изучать и исследовать, пока было время до ужина и пока ещё не стемнело...

Вьетнамец Чунг, что провожатым у Андрея сделался и, одновременно, его новым товарищем, был бойцом-третьекурсником и приехал работать на стройку уже второй раз, был хорошим покладистым парнем, трудолюбивым, выносливым, дисциплинированным. Но, однако, дружбы себе прошлым летом ни с кем не завёл – толи из-за национальности азиатской, толи из-за корявого языка: по-русски-то он плохо совсем говорил и понимал русских плохо. Ему, как долдону, как чурбану, нужно было по несколько раз свой вопрос или обращение повторять, потом его терпеливо выслушивать, всю его абракадабру словесную, трудно-переводимую. А делать этого, как ни крути, хотелось не всем, а если начистоту – никому. Вот он бобылём-отшельником и прожил прошлый в отряде год, несчастным юродивым одиночкой. Работал молча весь срок как заведённый робот, да на койке вечерами лежал, ни с кем почти не разговаривая, не общаясь. Только газеты читал вьетнамские, книги, да регулярно ещё по субботам к каким-то местным знакомым бегал, у которых пропадал до ночи, которые его кормили и поили по какой-то странной причине, у себя не понятно с чего привечали... С Андреем же он в Смоленске в автобусе рядом сел. Они разговорились, за разговором сблизилась. Поняв языковую проблему вьетнамца, Андрей не тяготился ему трудные или же незнакомые слова по складам повторять, не ленился вопросы или темы какие-нибудь по несколько раз разжёвывать... И вьетнамец оценил такое поведение Мальцева, откликнулся уважением, благодарной любовью к нему воспылал. За время езды до деревни они сдружились настолько, что решили в общежитии рядом лечь; решили и работать и отдыхать тоже вместе... Андрей не противился такому сближению, не возражал: и у него в отряде из близких никого ещё тогда не было.

Проникшийся добрым чувством к Андрею Чунг и на конюшню с ним из солидарности потащился – волю его настойчивую исполнять. Потом по окрестным полям с ним бродил очень долго, часа три, хотя видно было, чувствовалось по всему, что сырлипкиные красоты не сильно его возбуждали и трогали, сугубого азиата, как не прельщала его и сама Россия... Потом

они в школу вернулись, поужинали, в шахматы поиграли с часок, остались одни в пустом общении, по душам опять побеседовали. И Чунг дружку полушепотом всё про всех рассказал: кто тут “плохой” был по его мнению, а кто – “хороший”; с кем можно было общаться, дружить, а с кем категорически этого делать не следовало... Потом они дружно спать улеглись, про клуб и про девушек и не вспомнив даже, про танцы и страсти, что закипели в клубе с приходом туда москвичей. Маленький и невзрачный Чунг бабником не был – как и Андрей. И это их тоже сблизило...

3

А на другой день, в семь утра ровно, сладко спавших бойцов ССО “VITA” разбудил одетый уже командир, что помыться успел и побриться, одеколоном подушиться даже. Ему-то на койке валяться некогда было – он в колхозном правлении по утрам теперь всякий раз обязан был присутствовать и заседать: на время летних строительных работ его на должность начальника участка зачисляли, со всеми наличествующими обязанностями и полномочиями. Торопившийся, он построил всех перед столовой в шеренгу, пересчитал, посмеялся над некоторыми рабфаковцами-гуляками, вид которых после прошедшей бессонной ночи особенно жалок и комичен был, шутя посоветовал им поберечься, не тратить силы. После чего, пожелав всем успешной работы и удачного первого дня, командир сел в подъехавшую машину и умчался на планёрку в соседнее село, ословелым парням помахав из окна ручкой.

После его отъезда парни умываться и бриться пошли, в спецовки переодеваться новенькие. В семь-тридцать завтракать сели. А в восемь-тридцать все опять у столовой собрались и дружно, с мастером во главе, двинулись на *объект*, который пока что был полем чистым, где только бытовка стояла с лопатами и топорами, а рядом козы и коровы паслись, оставляя после себя огромные дымящиеся “лепёшки”.

Поле то трудовое за деревней располагалось, возле трёх старых коровников, убогий внешний вид которых, при Сталине ещё построенных, студентов сильно тогда поразил. А уж когда на объект приехал председатель колхоза Фицюлин в сопровождении командира и на экскурсию студентов в коровники те сводил, показал им хлева изнутри, во всей их “красоте” и наготе неприкрытой, рассказал, как “живут и здравствуют” в них бурёнки с пеструхами, как болеют и околевают зимой от сквозняков и морозов, рожают теляток слабеньких, наполовину больных, которые тоже в большом количестведохнут; в каких антисанитарных условиях, наконец, женщины-доярки трудятся, причём – за гроши, за те же сталинские трудодни по сути, – то у студентов-строителей и вовсе дыхание перехватило от жалости и тоски, и сердца их молодые, чувствительные, горячей кровушкой облились и умылись! Страшно им тогда за Россию-матушку стало, до слёз обидно и горько сделалось за несчастных русских людей, что до сих пор ещё живут как рабы, и работают также тяжело и безрадостно.

– Вот мы и просим вас, москвичей, молодых да красивых, да до работы жадных, слёзно просим помочь нам из этакой кабалы-нищеты выбраться! – с жаром обратился под конец экскурсии председатель к в момент притихшим и посерьёзневшим молодым парням, на свежий воздух их выводя из полусгнивших вонючих хлевов, которые, как казалось, вот-вот должны были рухнуть у всех на глазах, с треском и грохотом обвалиться. – Постройте нам новый коровник за лето, чтобы к зиме мы коровушек смогли туда перегнать. И мы вам, родные! хорошие! мы вам всем миром в ножки придём и поклонимся. Я первый вам руки приеду пожму, поклон поясной отвешу... И деньгами вас не обидим, не бойтесь, и молоком всё лето поить до отвала станем, и телков молодых я уже приказал ежедневно для вас забивать: чтоб вы голодные у нас тут не остались, чтоб и на следующий год захотели приехать к нам. Ну а уж вы, родимые, постарайтесь, пособите убогим, поработайте добросовестно, без халтуры, как командир ваш,

ваш Анатолий, мне крепко-накрепко пообещал! И мы за вас за всех тогда Бога молить ежедневно и еженощно станем! Не сомневайтесь в этом! Клянусь!...

После такого показа и слова напутственного, страстного, до глубины души всех присутствовавших взволновавшего, председатель уехал, увезя командира с собой. А расчувствовавшиеся студенты дружно приступили к делу: лопаты пошли доставать из бытовки, вёдра, ломы, топоры. Потом на бригады стали распределяться, носилки, лотки мастерить, размечать территорию под строительство.

На объекте всем распоряжался и заправлял мастер, Перепечин Володя, 23-летний светловолосый рабфаковец-третьекурсник, как уже говорилось. Добрый, приветливый, смывлённый молодой человек, мозговой центр отряда, строитель-самородок каких поискать, советчик душевный, разумный, трудяга и умница. В плане распределения ролей в коллективе у них с командиром тандем замечательный образовался, и друг друга они дополняли так, как дополняют до целого две половинки яблока только. Или те же муж и жена, например, ежели оставить за скобками физиологическую подоплёку такого сравнения и на их отношения в стройотряде с деловой, практической стороны посмотреть.

Сравнение такое уже потому будет точно и правильно, что Толик Шитов по натуре прирождённым организатором был, лидером безусловным и ярко выраженным, усталости не знавшим “коренником”. Он уже и в армии лидером себя проявил, до старшины в части своей дослужился, взводом целым командовал, с офицерём, как студентам хвастался, дружбу водил, пьянствовал с ними по праздникам, развлекался. Любил человек, одним словом, мотаться по разным местам, быть всегда на виду, с людьми ежедневно встречаться, переговоры вести; любил и умел быть в гуще важных событий, вершить большие дела, самолично делать историю. Учился он в институте плохо, был не усидчив, не образован, разумом был не скор, если дело чистой науки и абстрактных вещей касалось. И МАИ для него, по всем признакам, лишь неким трамплином предполагался стать для будущей чиновной карьеры. К ней он и готовил себя старательно с первого учебного дня, втайне на неё настраивался, к ней несомненную склонность имел и призвание.

Володя же Перепечин, наоборот, был тихим необщительным домоседом, для которого в тишине посидеть, помечтать, о жизни бренной подумать было, наверное, всё – наипервейшее и наиважнейшее дело. Он хотя и поступил к ним в институт с рабфака, два года в армии перед тем отслужив и почти всё там пере забыв естественно, и по возрасту уже “старым” был, если его с такими как Мальцев желторотыми студентами сравнивать, у которых мозги работали как часы и память была почти идеальной, способности, – но учился, тем не менее, хорошо, старательно и стабильно учился. Чем среди рабфаковцев пустоголовых особенно выделялся, за что в авторитете у них, тугодумов, ходил, блудяг и нетягов ленивых. Андрей неизменно в читалках его встречал, когда туда иногда наведывался. Видел, как сидел он там мышкой по вечерам, обложившись ворохом книг, очки себе на нос напялив, и что-то старательно конспектировал каллиграфическим почерком, запоминал, мечтательно думал над чем-то, усиленно пытался понять, что частенько было интересно ему просто так – не для стипендии, не для оценки. Молодого профессора напоминал он со стороны, или доцента.

Он и на стройке таким же “профессором” был: обстоятельным, вдумчивым, предельно серьёзным, всё подмечавшим до мелочей, всё помнившим, всё про каждого знавшим. Ему хоть и дали в помощь прораба старого, деревенского, деда-пенсионера по имени Митрофаныч, – но Володька к нему за советом редко когда обращался. Сам был прирождённый прораб, творец-строитель по духу... Митрофаныч с Фицулиным только раз с ним поговорили в первых числах июля, раз всего ему объяснили дотошно, чего они от студентов хотят, чертежи ему предполагаемого коровника показали, – и этого оказалось достаточным, чтобы потом всё желаемое получить и остаться довольными стройкой. Володя тогда постоял задумчиво между ними,

обоих их молча послушал с час, скорее даже из вежливости, чем для собственной пользы, что-то там про себя покумекал-подумал... А потом те чертежи мудрёные уже *один*, сидя на брёвнышке, изучал и парням своим всё уже *сам* растолковывал; *сам* и территорию для строительства размечал, *сам* же технологию разрабатывал, *сам* придумывал оптимальные методы стройки, с учётом способностей и наклонностей каждого вверенного ему бойца, с учётом их индивидуальных возможностей. Прикомандированный Митрофаныч два летних месяца по объекту только гулял ходил, праздно из угла в угол шатался, грибы в лесу собирал, ягоды; и деньги от родного колхоза получал зазря: не нужен он был никому на стройке.

Строителем, повторимся, Перепечин был прирождённым, от Бога что называется. И многим профессиональным прорабам он фору бы точно дал: научил бы их, гордецов, как надо строить добротнo и качественно, быстро и профессионально работать. Шитов за ним в этом плане как за каменной стеной был, в дела строительные почти не вмешивался. Так, приедет иногда посмотреть любопытства ради, спросит, чего не хватает, что надо достать. И опять уезжает на прикрепленном к нему ГАЗике договоры-переговоры вести, а чаще всего – с председателем колхоза водку пить на природе, закрытие нарядов обсуждать на будущее, просто лежать и трепаться. Командира своего на стройке студенты поэтому редко видели. А когда и приезжал, он одну лишь нервозность в работу вносил и суету ненужную.

Это не означает ни сколько, выделим это особо, что один из них, Шитов Толик, был ничёмен и плох, и как пескарь хитромудр и пронырлив; а другой, Перепечин Володя, был очень хороший, трудолюбивый и знающий, но судьбою обиженный, затёртый удалым командиром своим. Нет, оба они были хорошие, замечательные ребята, работяги, труженики с малых лет, со студенческих лет – строители. Просто разными были они по характеру и темпераменту, разные занимали должности. И были на тех должностях ценны и незаменимы по-своему, как незаменимы в армии командир и начальник штаба, к примеру: один – как вождь и трибун, как мотор клокочущий, другой – как мозговой центр, как стратег-аналитик...

4

С командиром у Андрея Мальцева в первый рабочий год отношений не было никаких: он мало видел его, совсем почти не общался. А вот с мастером отношения сложились сразу, в Москве ещё, когда они на субботниках вместе трудились. Тому звёзды, скорее всего, способствовали, были тому виной: Перепечин и Мальцев, как позже выяснилось, *водолями* были по гороскопу, оба почти в один день родились с пятилетней разницей в возрасте. Так что звёзды их ещё при рождении сблизили, души родственные в них вложив, одинаковое мировоззрение и мировосприятие... Потом их сблизила стройка, работа общая, одинаковое отношение к той работе – через чур у обоих серьёзное, через чур болезненное, – отчего их симпатии обоюдные раз от разу только усиливались и крепчали.

Уже в первый рабочий день, шкуря топором сосновые доски для опалубки и носилок, старательно обчищая и выравнивая их, Андрей услышал у себя над ухом звонкий как колокольчик голос мастера:

– Андрюш, а ты до стройотряда работал где-нибудь? строил чего? Ну-у-у, там с родителями или ещё с кем?

– Нет, нигде и ни с кем, и ничего, – ответил Андрей смущённо, перед Перепечиным выпрямляясь, в глаза доверчиво глядя ему.

– Надо же! – удивился Володька. – А такое ощущение со стороны, что ты топор из рук уже лет пять как не выпускаешь: так лихо и сноровисто ты им управляешься. Я залюбовался даже, на тебя гляючи: ни движений лишних, ни брака, ни напряжения как у других. Молодец! Надо тебя в бригаду к плотникам пристраивать побыстрей: там у них сейчас самая работа будет...

Так вот и стал после этого Мальцев Андрей, с лёгкой руки Перепечина, плотником в стройотряде, так с топором под мышкой всё лето и проходил. Пока его товарищи-первогодки, да даже и те, кто второй раз приехал, раствор для каменщиков месили, ямы копали фундаментные, кирпичи разгружали, цемент; а потом отмывались вечером по полчаса от раствора и от цемента. А плотники – нет, плотники аккуратные всегда ходили, холёные, важные, гордые. Потому что плотники – это элита стройки, рабочая аристократия, белая кость. Они чистенькие пришли на объект, чистенькие и ушли вечером, где-нибудь на крыше, *на коньке* целый день просидев с молотком и пилою-ножовкой, с высоты своего положения царственно на всех взирая, потешаясь-посмеиваясь про себя над чумазыми каменщиками и бетонщиками, в душе презирая их. Все самые авторитетные и уважаемые люди в отряде работали плотниками, – и Мальцев попал в их число. Что было ему безусловно приятно, гордостью отозвалось в душе.

Но, помимо чистоты, престижа и профессиональной гордости, ещё и потому быстрый перевод в плотники был выгоден и желателен для Андрея, что дерево он куда больше камня любил, чувствовал и понимал его как существо живое, разумное. И запросто – по строению древесины, внутреннему качеству его и исходящему от среза теплу – сосну от ёлки или ясеня отличал, берёзу от бука, клёна и дуба. Даже если и обструганы они были со всех сторон, если коры не имели в наличие...

Потом Перепечин Андрея рухнувший мост послал восстанавливать в составе плотницкой спецбригады в соседнее село Ополье, где колхозное правление располагалось. И Андрей опять там с самой лучшей стороны себя показал – думающим и рукастым, на любую работу способным, – ещё больше симпатии мастера снискав... Потом он с бригадиром плотников и сырлипкиным трактористом Михальком строевой лес валить ездил для нового коровника: стропила им тогда срочно понадобились, прогоны и перекрытия, которые колхоз за зиму подготовить так и не смог, как того обещал председатель, – жил в сосновом бору три дня в шалаше охотником, на сосновых же ветках спал, воздухом лесным упивался, малину горстями ел, чернику и костянику. Вернулся назад счастливым и отдохнувшим, каким с курорта разве что возвращаются, – на зависть всем. И к этой халявной поездке Перепечин руку свою приложил, пусть и не без участия бригадира.

А перед поездкой, в середине июля, у них в отряде собрание в обеденный перерыв проводилось по подведению первых итогов работы. И на нём мастер в присутствии командира здорово всех ругал. «Две недели уже прошло, мужики, – рассерженно говорил он тогда, одновременно ко всем бойцам обращаясь, – а вы всё никак не раскочаетесь, всё по объекту сонные ходите, деревенских баб обсуждаете: покоя они вам не дают своими толстыми задницами! Вы разве за этим сюда приехали?! вам местные бабы, что ли, будут за работу деньги платить – за то, что вы их добросовестно и регулярно трахаете?!... С Андрея Мальцева, вон, пример берите – молодец парень! Как волчок с утра и до вечера на объекте крутится, без дела минуты не посидит: некогда ему про разные глупости думать. Он один за вас за всех и пашет, пока вы носом клюёте ходите да лясы меж собою точите».

Можно себе представить, что думал и чувствовал Андрей после тех памятных слов, какой безграничной симпатией к мастеру своему проникся. А уж как он “крутится” на стройке после этого стал, чтоб Перепечину, его похвалившему, угодить, – про то и передать невозможно: в игольное ушко готов был пролезть, наизнанку вывернуться, двойную, а то и тройную работу выполнить, пока товарищи его беспутные свои кобелиные подвиги обсуждали.

И как итог и безоговорочное признание со стороны мастера его таланта строительного и надёжности, в первых числах августа Перепечин Мальцева на пилораму работать услали – одного, безнадзорного и бесконтрольного. Чтобы поучили его там деревенские мужички на циркулярной пиле работать, доски для пола пилить, что было делом крайне тяжёлым и крайне опасным, делом подсудным даже, ежели про руководство студенческое говорить, про их юридическую за бойцов отряда ответственность. Студентов-строителей к электротехнике,

тем более – технике режущей, категорически было нельзя допускать. К работе же на циркулярной пиле и вовсе допуск особый требовался: даже и профессиональным строителям специальные курсы необходимо было перед этим кончать, сдавать экзамены по мастерству и технике безопасности.

Мастер об этом знал, безусловно, и здорово рисковал, принимая такое ответственное решение: случись с подчинённым что, его бы в тюрьму посадили. Но обрезные доски отряду были позарез нужны: полов-то требовалось настелить сотни метров. А рабфаковцы, на которых Перепечин с Шитовым первоначально рассчитывали, работать на той пиле категорически отказались – струсили. Вот выбор тогда на Андрея и пал, которому мастер поверил.

И Андрей оказанное доверие оправдал – отчаянным был в молодые годы парнем, что от глупости и неопытности его шло, от отсутствия рабочей практики. Хотя поначалу визжавшей стальной пилы он как злой собаки боялся, холодным потом покрывался весь, первые доски под неё подсовывая: всё руки себе отпилить опасался, домой воротиться без рук. Все работники пилорамы-то, как он ещё при знакомстве заметил, беспальные давно ходили, светили культяпками перед людьми, заставляли морщиться и содрогаться. У кого одного пальца не было, у кого – двух, а кто и трёх сразу когда-то лишился. И уродливые обрубки их, когда они с Мальцевым разговаривали, когда при встрече здоровались, руку ему трясли, только усиливали, только множили страх.

Но Бог уберёт его в первые дни, сопляка безусого, безголового, которому никто совершенно не помогал, не подсказывал, как и что нужно делать, к которому мужики-пилорамщики и не подходили даже: больно им было надо за мизерную зарплату ещё и студентов глупых учить, отвечать за них перед кем-то. Их и самих никто никогда не учил деревообрабатывающим специальностям: оттого они и порезали сами себя, в инвалидов-калек превратили. И они никого учить не желали – и кто их осудит за то. Они только доски готовые ему лениво подбрасывали и говорили с ухмылкой:

– Давай, Андрюха, пили, пили, паря, лучше. Ты молодой, волевой, – зубоскалили, – грамотный, головастый москвич. Комсомолец – к тому же. Ты всё на свете осилишь. Тебе-де, как комсомольцу, должно быть всё по силам и по плечу – не то что нам, пердунам. Нам, – добавляли лукаво, по паре стаканов самогонки с утра засосав, – нам давно уже всё, Андрюх, на этом свете по х...ру! Мы тут в деревне пропащие все, с молодых лет загубленные, – и гоготать начинали дружно, довольные шуткой такой...

Так вот Андрей и учился один – быстро, надо сказать, и качественно учился. Через пару-тройку деньков он уже привык к пиле и визгу её устрашающему, худо ли, бедно ли, сжился с ней, сроднился даже, перестал трусить её, нелепых ошибок бояться. Через неделю-другую все хитрости и премудрости у пилы смекалкой собственной выведал, сам разбирать и точить её научился (и точить полотно мужики с пилорамы не очень-то и хотели, ленились, черти, водку с Андрея за это требовали), научился хорошую сталь от плохой отличать – отказывался потом от некачественной мягкой стали. Даже и своё рабочее место оборудовать догадался по всем правилам техники безопасности: мотор заземлил по совету электрика, расшатанный стол укрепил, деревянные щиты над крутящимся диском на уровне головы повесил по причине отсутствия защитных металлических кожухов. Чтобы, значит, глаза себе отлетавшими во время работы щепками не повышибать, которые летали как пули, – чем мужиков деревенских в неизменный восторг приводил, а заодно и командира с мастером. Те нарадоваться на него не могли – такого отчаянного и ловкого, такого смекалистого не по возрасту, – с каждым днём уважали и ценили его всё больше и больше.

И Андрей обоих их уважал. Перепечина Володю, в особенности. В первые дни приезда глаз с него не сводил, всё наблюдал за мастером с любопытством: как разговаривает тот с людьми, объясняет им дело новое, как в любой работе бойцам-первогодкам с душой помо-

гает-подсказывает. Стоит, бывало, в сторонке, смотрит, как кто-то из молодых топором бес-толково машет или лопатой неловко землю скоблит, подмечает все недостатки и упущения. А потом подойдёт, осторожно так тронет за руку и начнёт объяснять не спеша, как лучше топор-ище, черенок лопаты держать, чтобы руки и ноги себе не поранить, чтобы работа строитель-ная в радость была – не в тягость. Как за детками малыми за всеми ходил и следил, заботился о вверенных ему пареньках всецело.

Работу дурную, ненужную, делать не заставлял: перед тем как новое что-то начать, всё тысячу раз обдумает и обмерит. Потом бригадиров на совет соберёт, их мнение авторитетное спросит, а бойцам пока отдыхать велит всё это время... А уж если вдруг промашка какая у него выходила или нелепица: напрасно что-то бойцы его с места на место перетаскают или выкопают не то, или столбы в коровнике не так поставят: стройка ведь, она стройка и есть, всего там не спланируешь и не предусмотритишь, – так он потом несколько дней сам не свой по объекту ходит, поедом себя ест и корит нещадно: ну, мол, я и балда, до такой простоты не додумался. Мастер, называется!

Очень он Андрею за это за всё нравился, даже больше, чем летун-командир. Коман-дира-то он побаивался всё же, робел неизменно в его присутствии, нервничал, суетился излишне, – хотя Толик Шитов в общении был простой, с Андреем всегда дружелюбен. Но он был начальник, как ни крути, был по возрасту старше всех, жил от подчинённых отдельно... И поругаться он запросто мог, публично каждого отчитать, домой не понравившегося бойца в два счёта отправить. И за порядком и дисциплиной в отряде всё-таки он следил, за ним было последнее в любом важном вопросе слово... Он и у Перепечина был командир, и это накладывало на каждого свой существенный отпечаток.

К тому же, Шитов был москвичом, а Перепечин Володя – иногородним. А иногородних студентов от москвичей непреодолимый барьер всегда отделял, незримый – но очень суще-ственный. Иногородние-то, при всём уважении к ним, были в Москве гостями, приживалами числились пять студенческих лет, такими полулегалами-полубездомниками. В общежитии обитали-ютились на временной основе, плохо и тесно там жили, чуть лучше бомжей в ночлеж-ках, и остро ощущали всегда эту свою проклятую временность и бездомность, свой гостевой статус. С превеликим удовольствием – все! – жаждали его на постоянную московскую про-писку со временем поменять, законными москвичами сделаться, полноправными столичными жителями... Поэтому вести себя с хозяевами на равных они при всём желании не могли: пси-хологически они москвичам всегда и везде проигрывали. И никакая разница в возрасте, зна-ния и талант, никакой жизненный опыт и авторитет им здесь, увы, не помогали.

Оттого-то 18-летний москвич Мальцев, скромный боец-первогодок, мог запросто с 23-летним мастером Перепечиным на любую тему поговорить, любую обсудить проблему. Потому и чувствовал себя с ним почти что на равных...

5

Перепечин с Шитовым были первыми, но не единственными, кого близко узнал и полю-бил в отряде Андрей, к кому с симпатией, глубоким почтением относился. Были у них и дру-гие парни, Мальцеву глубоко симпатичные, которые не уступали командиру и мастеру ни по каким статьям: ни по качествам человеческим, ни по уму; ни по красоте душевной, ни по кра-соте телесной... Были в ССО “VITA” два бригадира, к примеру, два Юрия: Юрка Кустов и Юрка Орлов. Первый, опять-таки, иногородний, второй, Орлов, коренной москвич, – которых Андрей хорошо узнал и заужавал уже в процессе работы, знакомством и дружбой с которыми потом неизменно гордился.

Рабфаковец Кустов, 22-летний бывший воин-десантник из Нальчика, сразу же просла-вился в отряде тем, что топоры и ножи кидал с любых положений, кидал точно в цель, куда

ему перед тем указывали, чем поражал стройотрядовцев несказанно. И бутылки пустые он как яичную скорлупу колол, даже и из-под шампанского: горлышко у них отбивал взмахом рук, – и гвозди загибал на пальцах; и даже и скобы строительные, поднатужившись, ладонями шершавыми гнул, кольца металлические из них на потеху делал. Но не этим, конечно же, он Мальцеву полюбился: кидания и загибания – это для пацанов. Полюбился он Андрею сноровкой своей фантастической и удивительной работоспособностью – качествами, которые Андрей впоследствии больше уже ни у кого не встречал, которые для него эталонными так до конца дней и остались.

До чего же рукастым был всё-таки парнем этот Юрка Кустов, до чего красивым и спорым в работе, – с ума можно было сойти, на него долго глядячи! Работал изящно всегда, работал легко, прямо как артист настоящий. Причём – везде, на любом участке и с любым инструментом. К тому же, работал быстро на удивление, и при этом достаточно качественно, так что угнаться за ним в отряде никто не мог: КПД его был всегда наивысшим... Удивительным было и то, что высокая скорость работы была для него естественной и нормальной: он жилы из себя никогда не рвал, не показушничал перед командиром. Работал, как правило, за исключением авральных дней, по своим обычным возможностям. Оттого и выходило всё у него так красиво и зажигательно! Он и топором махал как хороший художник кистью, и мастерком со шпателем; и кирпичи удивительно ровно, словно по линейке, клал, и штукатурил стены на загляденье... А уж как он с бензопилою “Дружба” играючи обращался, как грациозно ею вековые сосны под корень срезал, ни страха не испытывая, ни напряжения, – про это можно было фильмы снимать и по телевизору их потом показывать в качестве учебного пособия для лесорубов. Игрушкой детской казалась бензопила в руках Кустова, какими в детских садах карапузы играют.

Когда Юрка работал, он всегда песни пел – дворовые или блатные как правило, – работать мог сутками, не уставая, и при этом ещё и анекдоты напарникам или байки из армейской службы травить, до которых был страстный охотник. Работать с ним было одно удовольствие: веселил он всех от души и сам вместе с напарниками веселился. А всё потому, что Мастером был: умел, работая, расслабляться, кратковременный отдых себе давать, экономно расходовать силы, чего молодые бойцы-первогодки делать совсем не умели – даже и через месяц после приезда на стройку, и через два. Оттого и выматывались до предела, пытаясь за ним угнаться, еле ноги вечером волочили, валились с ног. По этому крайне важному свойству, умению расслабляться и отдыхать, Юрка в отряде тоже заметно всех обходил. И было это у него, скорее всего, врождённое...

На бригадира плотников, своего непосредственного начальника в первый месяц работы, Мальцева на стройке с неизменным восторгом смотрел. Всё удивлялся, как это лихо у него любое дело спорится – без брака, шума и суеты, без единого лишнего взмаха, движения. Бригадир, подмечая слежку, не выдерживал жара его карих глаз, начинал хохотать раскатисто. «Ты дырку на мне прожжёшь, Андрюха! Отвори глаза-то», – говорил ему озорно, по-отечески ласково, и Андрея за такое повышенное внимание и чувства искренние, дружелюбные к себе приближал, с собою брал неизменно. И рухнувший мост в Ополе взял восстанавливать с одобрения мастера, где Андрей его ловкостью и разумностью удивил; и только Мальцева одного взял лес сосновый валить, жил с ним три дня в шалаше, работал. Сам с бензопилою ходил, на лесником отмеченных соснах надпилы делал, а Андрей у него толкачом-вальщиком был, шестом берёзовым валившиеся деревья направлял в нужную сторону, трелёвочному трактору подъезд улучшал, погрузку... Там, в лесу, он с бригадиром своим здорово сблизился: ел с ним из одного котелка, пил из одной кружки, под одной шинелью спал; тайны свои сокровенные ему по ночам рассказывал, его тайны слушал. А тайны душевные, по секрету кому-то доверенные, сближают лучше всего: это давно известно.

Приблизив к себе Андрея, по разным местам помотавшись с ним, в делах серьёзных его проверив, кабардинец-трудяга Кустов незаметно сдружился с первогодком-Мальцевым, душу

родственную в нём подметив, так что к концу первого рабочего срока, несмотря на разницу в возрасте, они уже были друзья. И так и остались друзьями на все пять студенческих лет, и даже и по окончании учёбы неоднократно встречались. Часами болтали за пивом, молодость вспоминали, работу – и всё наговориться никак не могли: так им обоим приятно в компании друг с другом было... Со временем жизнь разделила их, развела – это дело известное и понятное. Но память добрую в сердцах каждого она не стёрла!...

С другим бригадиром, Орловым, отношений у Мальцева не было никаких, или почти никаких, если сказать точнее, хотя и проработали они на стройке бок о бок целое лето. И пусть был Орлов всего на год старше Андрея, по возрасту – молоденьким парнем, в общем-то, – однако ж держал себя со всеми так, будто бы был в отряде самым старым, тёртым и мудрым.

Виной тому был его социальный статус, высокое Юркино положение – и барское воспитание, безусловно, что из того положения вытекало. А статус и положение определял отец, что заместителем министра работал какого-то министерства, а до этого – дед, отец отца, что, по слухам, тоже высокие посты занимал в правительстве.

Поэтому барин Юрка, с министрами с малых лет знакомый, на коленках сидевший у них, в гости с родителями к ним регулярно ездивший, Юрка к себе в наперсники мало кого допускал: в ССО “VITA”, во всяком случае, у него товарищей близких не было, одни знакомцы... Но, несмотря ни на что – на барство его прирождённое и аристократизм, его порою коробившее Андрея высокомерие, – парнем он был удивительным – каких поискать! – на все сто процентов оправдывавшим свою крылато-небесно-заоблачную фамилию. Красивым, умным, решительным, отчаянным и дерзким до глупости, на свете не боявшимся никого, на всех сверху вниз смотревшим, как смотрят с небес голубых на людей благородные птицы орлы, которым Юрка был “не чужой”, с которыми, хочешь, не хочешь, он на века “сроднился”.

Масштаб и качество его личности поражали Мальцева, как поражали Андрея всегда величина его дарований, крепость духа и широта интересов. Ещё в Москве, не будучи бойцом стройотряда, а только-только на первый курс поступив, Андрей и тогда уже знал про Орлова, слышал про него в институтских коридорах не раз, что есть-де на их факультете студент один удалой: отчуга, герой и сорвиголова каких мало. И далеко-де за пределы МАИ молва про него разносится... Потом, когда Андрей с ним на субботниках познакомился и внимательно рассмотрел, поближе паренька узнал и поблагодарил судьбу за такое знакомство, – он убедился воочию, что всё оно так и есть, и слухи восторженные про Орлова не зря ураганом кружатся. И красавец он был, и удалец-молодец – из тех, с кем и жить легко, и умирать не страшно.

Про Юрку ребята из стройотряда Андрею много чего диковинного рассказали: как оказалось, у многих он был кумир. Но всё же более всего первокурсника Мальцева из услышанного поразило то, например, что ещё пару-тройку лет назад, до института то есть, был Орлов футболистом отменным, воспитанником старой торпедовской школы, поигравшим даже и за дубль своей родной команды год, звание кандидата в мастера спорта себе там получившим, лично знавшим в “Торпедо” почти всех игроков своего поколения, прославившихся на футбольных полях – и советских, и европейских. Но в десятом классе он выбор должен был сделать: либо в футбол продолжать играть, высот намеченных добиваться, либо с футболом “завязывать” и в институт поступать, профессию получать надёжную... Он подумал-подумал – и выбрал МАИ. Сам ли, или по родительскому приказу – не столь уж и важно. Поступил легко на факультет самолёто– и вертолётостроения, что свидетельствовало о том, что и в школе он без особых проблем учился.

Став студентом МАИ, он футбол не забыл, играл в него постоянно: и за сборную института, и у себя во дворе, играл и за ССО “VITA” – так играл, что на его игру вдохновенную вся деревня смотреть сбегалась, все деревенские парни и девушки. Такие пируэты выделял даже и на убогом деревенском газоне – фантастика! Горел во время игры, по полю факелом

ярким бегал – глаза всем своею игрою слепил: футболистом был милостью Божьей. Футбол, вероятно, был его самой большой, самой главной по жизни страстью: играя, он отдыхал, от житейской хандры выздоравливал, ну и накопившееся напряжение попутно сбрасывал, гоняя по полю мяч. Мог классно бить по мячу с обеих ног, голы забивать как угодно: и с лёта, и ножницами, и через себя. Мог, стоя на одном месте, по несколько человек обводить: дриблёр был виртуозный, отменный... Бегунком он вот только не был: бегать быстро и долго совсем не умел. Лёгкие слабые были, а может и сердце, – из-за чего, вероятно, зная за собой слабость такую, он и оставил большой футбол: понял, что многого в нём не добьётся... Но зато мячом он распоряжался выше всяких похвал, не хуже всегдашних кумиров своих, *Стрельцова* или *Воронина*, про филигранное мастерство которых часами мог говорить, которых боготворил безмерно. Андрей те рассказы Юркины, которые слышать ему довелось, потом на всю жизнь запомнил, слово в слово: такими живыми и красочными, и предельно эмоциональными они были.

«Надоели вы мне со своим Пеле! Подумаешь, король футбола! – в запале кричал он однажды на собеседников, например, когда разговор в сырлипкином общежитии про футбольных звёзд вдруг зашёл: кто из них лучше-де, а кто хуже. – Да не посади самолично придурак-Хрущёв нашего Стрельцова в тюрьму за неделю до чемпионата мира в 1958-ом году, не устрой околофутбольная мафия против Стрельцова заговор, – знали бы вы тогда про своего бразильца хвалёного! в какой бы он заднице был! Наш Эдик на таком подъёме тогда находился: по несколько мячей за игру заколачивал в чемпионате страны, на поле чудеса творил, каких и не видели! Ему на чемпионате мира все лавры пророчили, все титулы самые громкие как самому лучшему, самому техничному игроку, все победы: приедет, думали, всех победит; не человек, говорили, машина. Про сопливого Пеле тогда и не заикался никто, его на фоне Стрельца специалисты в упор не видели... И сборная наша в 58-ом чемпионом мира стала бы – однозначно могу об этом сказать. Там один Стрелец всех бразильцев и немцев пораскидал бы. А ведь там были ещё и Воронин, и Иванов, и другие талантливые ребята: мечта была, а не сборная! Куда там было кому-то до нас! – всех бы как зайцев трусливых порвали!... Дельцы от футбола знали об этом, чувствовали, что всё оно так в точности и произойдёт: Стрельцов с Ворониным и Ивановым тогда на футбольном поле не играли, а царствовали. Вот и посадили их заводилу от греха подальше по откровенно надуманному обвинению: Хрущёв приказом собственным посадил; у него других дел и забот кроме футбола будто бы не было... Представляете, на каком уровне валили Эдика! – на уровне руководителя государства: чтобы уж было наверняка, чтобы он, бедолага, от них никуда не сорвался!... А всё оттого это, что никому наша сборная не нужна на пьедестале почёта, никому не нужны великие русские футболисты, русские достижения и победы... А вы мне тут про Пеле талдычите да про Гаринчу, не зная про футбольную мафию ни хрена, про закулисные козни околофутбольные! Молчите лучше, не злите меня! не разевайте рты поганые!»

Умный был Юрка парень, словом, хоть и горячий, во многих делах сведущий, знакомый с изнанкою дел, пружинами тайными и течениями. А всё оттого, что высоко летал и далеко с той своей высоты видел...

По характеру был он человеком открытым, прямым, которому чужды были всегда подковёрные игры и склоки. Если он тебя полюбил – хорошо: ты для него друг-приятель до гроба. Но коли ты ему насолил чем-нибудь или просто не приглянулся – всё, плохи твои дела: он со свету тебя сживёт ежедневными колкостями и насмешками.

И холуёв с дураками он терпеть не мог, угодников-карьеристов; не выносил условности всякие, трафареты, систему, что тоску на него наводили и уныние жуткое, прямо-таки бесили и изводили его. Он заболел от дураков и систем: они будто кровь его молодую портили... Потому-то он с вызовом дерзостным вечно и жил, этаким бунтарём-одиначкой: всё силился окружавшую его мертвечину и косность разрушить, жизни дорогу дать, новизне, даровитости,

созиданию, свету; а паразитов и хамов тупоголовых под ноль извести, что мир только гадят и портят.

Ну, извести – это ладно: быстро это не делается. А вот пристыдить-оконфузить кое-кого, чесаться, краснеть заставить – это у него получалось прекрасно: тут с ним сравниться никто не мог. От выходок его удалых людишки словно от блох порточных чесались.

Так, он был единственным бойцом в отряде, кто, например, командира по фамилии звал. Как человека, чем-то сильно ему досадившего. Кто мог на собрании принародно всю правду Шитову в глаза откровенно сказать, разругаться с ним вдрызг, в пух и прах, на место командира поставить – чтобы тот палку особенно не перегибал, высоко не заносился порою. И командир побаивался его – потому что не мог приструнить Орлова: выгнать или рублём, как других, наказать, зарплату урезать вдвое. Знал, что не за вознаграждение Юрка работать ездил и деньги особенно-то не считал, не трясся как остальные над ними – относился к деньгам как к мусору. А работал выше всяких похвал: качественно и надёжно работал. Вот и терпел его командир скрепя сердце, выносил его колкости и издёвки.

И на председателя колхоза Юрка зверем кидался порой, если тот обещаний не выполнял, и на директора школы. И те сторонились его: чувствовали за ним правду и силу.

Приструнить же Орлова в принципе было нельзя. Его невозможно было заставить жить по шаблону и по уставу – как все жили. Для него это было смерти сродни: делом постыдным, утомительным, скучным... Примеров тому – миллион, которые все не упомнишь и не пере-скажешь. Поэтому приведём здесь один, самый простой и самый что ни на есть ничтожный; но зато и самый понятный читателю, что Орлова как нельзя лучше характеризовал, натуру его бунтарскую во всей её удалой широте показывал.

Чтобы выделиться из общей массы и не быть “как все”, он всё лето на стройке в семейных трусах как африканец ходил (бус только ему не хватало) и даже бравировал этим: а почему бы, дескать, и не походить, ежели мне того хочется и мне так удобно. Где написано, в каких-таких указах, что в трусах-де студентам-строителям ходить нельзя? – покажите мне те указы. Хочу и хожу – и никто мне ничего не сделает... В этих трусах разноцветных он и на почту, не стеснясь, заглядывал, и в магазин, в очереди там со всеми вместе выстаивал, лениво почёсывая свою волосатую грудь, плечи, пупок мохнатый. Чем приводил деревенских совершенно диких мужиков и баб, спецовками, кофтами вечно укутанных, платками, в нешуточное волнение и смущение, в великий, можно сказать, конфуз: такого крутого стриптиза они и за целую жизнь не видели, “такой порнографии” по их словам; как не видели они никогда, вероятно, и такого холёного молодецкого тела. Мужики и бабы хмыкали и смущались дружно, густо краснели, дёргались и суетились в очереди, отводили в сторону глаза. А столичному насмешливому стриптизёру всё было как с гуся, всё было в радость и кайф: он прямо-таки расцветал оттого, что конфузил-дразнил их всех, спокойствие их нарушал природное, вековое.

Трусами своими семейными, в цветочек, он не только в деревне народ смущал, но и в Первопрестольной тоже, потому как даже и там один раз вздумал в них в футбол поиграть – за сборную института! Он тогда свою сумку с формой дома забыл по какой-то причине, а игра была очень важная, на первенство вузов Москвы. А он в футбольной команде капитаном был как-никак со второго курса, центральным полузащитником к тому же, диспетчером. И без него студенты играть ни в какую не соглашались, на поле мальчишками для битья становиться. Им с МВТУ им.Баумана предстояло играть, серьёзной крепкой командой... Ну и стали, значит, товарищи-футболисты Орлову всем миром форму искать: футболку нашли подходящую, бутсы, трусы, носки; нашли даже щитки и гетры.

Всё это Юрка тогда на себя напялил без удовольствия, а вот трусы чужие, ношенные наотрез одевать отказался: «я вам что, подзаборник что ли», – сказал зло. И вышел играть в своих – семейных – на потеху публики. «Слышь, Орё-ё-л! – кричали ему с трибуны смеющиеся однокашники, – а чего это у тебя трусы-то такие интересные – широкие как парашюты?! Чтобы

быстрее бегать, что ли?! лучше играть?!» «Да нет! – орал им в ответ капитан сборной на весь стадион. – У меня просто яйца большие – как у слона: в казённые трусы не вмещаются!»

Мальцев такой диалог собственными ушами слышал. Видел, как раскатисто гоготали на трибунах зрители после Юркиных слов, как густо покрывались краской стыда молоденькие студентки, пришедшие после лекций за свой институт поболеть. Покрывать-то они покрывались, но на озорника-Орлова после таких ответов особенно долго смотрели, особенно заинтересованно и внимательно. Вероятно, всё силились рассмотреть и предугадать – правду ли он говорит? не врёт ли, мерзавец и хвастунишка, про свои мужские достоинства?...

Такое Юркино вызывающе-дерзкое поведение в деревне особенно отчётливо проявлялось, до неприличия контрастно и ярко. Ибо деревня – это ни с чем не сравнимый мир, антипод городскому, где условности и шаблоны разные даже и в мелочах присутствуют, где проявления вольности и либерализма не приветствуются совсем, а инакомыслие и гордыня категорически осуждаются и подавляются. А Юрка боролся с порядками и ханжеством деревенским с первого дня, сознательно пытался внести в размеренную жизнь крестьян пофигизм столичный, разброд и сумятицу.

Его борьба героическая и упорная не на одно одеяние распространялась: не одними трусами и голым пупком он традиции местные рушил, устои незыблемые разлагал, – но и на клуб, конечно же, где он, экстримал прирождённый, отчаянный гордец-удалец, дебоширил вечно, с парнями местными цапался, за дураков неотёсанных считая их, в глаза им о том заявляя... И на баню ещё, про которую надо особо сказать, не пожалеть бумаги.

Та баня, где мылись студенты, возле бывшего барского пруда стояла, родниковой водой подпитываемого, мимо которого дорога просёлочная пролегала, что соединяла деревню с коровниками. Дорога эта пустовала редко: по ней целый день доярки ходили со скотницами, краснощёкие дочки их, которые машинально замедляли шаг, а то и вовсе останавливались и на баню смотрели и лыбились, похабно разинув рты, когда там столичные хлопцы парились, шумели-буйствовали вовсю. И получалось, что эта дорога злосчастная для молодых москвичей большим неудобством сразу же стала: не давала она им, распаренным, голышом на улицу выскочить, с головой окунуться в пруд, остудиться там как положено в ледяной воде, в чувства себя привести, в нормальное состояние.

Неудобство такое Орлов ликвидировал, который париться с шиком любил – с бассейном, душем Шарко, массажем. Уже в первый свой приезд в стройотряд, в субботу первую он, перегретый в тесной парилке, деревянную дверь широко распахнул и, прокричав: «чего это я должен здесь кого-то стесняться», – голышом на улицу выскочил. Разбежался и плюхнулся в пруд, и плавал в пруду минут десять, не обращая внимания на остолбеневших баб, что, поражённые и гогочущие, на дороге тогда столпились. «Прыгайте ко мне, чудаки! – махал он, довольный, руками застывшим в дверях парням, с завистью за ним наблюдавшим, как он в пруду родниковом барахтается. – После парилки в пруд окунуться – святое дело! Точно вам говорю!... А бабы пусть на нас поглядят, коли им интересно! пусть полюбуются! Когда ещё они таких мужиков-то увидят? и где? Вот и доставьте им удовольствие»... Товарищи его подумали-подумали, животы свои мокрые почесали – и тоже на улицу повывскакивали нагишом, кинулись в пруд обмываться. И потом это у них уже в привычку вошло: на проходивших девок и баб они внимания не обращали.

Зато бабы обращали внимание на парней, да ещё как обращали! Половина из них, от холостых до замужних, прознав про такое мытьё, уже начали по субботам в ближайших кустах как в театральных ложах места занимать, за купающимися студентами сидеть и подглядывать. Студенты подмечали это, слышали шёпот восторженный, смех рядом с баней и прудом, – но купаний своих освежающих не прекращали; наоборот, выскакивать стали, бесстыдники, на улицу по несколько раз – чтобы законспирированным зрительницам удовольствие по полной программе доставить.

Председатель колхоза Фицюлин говорил командиру про такой бардак, просил по-дружески повлиять на студентов. Но Шитов так и не смог те купания банные прекратить: сладить с бедовым Орловым он был не в силах...

В бригаде Орлова Мальцев не работал ни разу. Но самого бригадира любил – за прямоту, безрассудство, талант; за желание переделать-оздоровить мир согласно своим представлениям, стряхнуть с него мертвечину, косность и мрак, жизни дорогу расчистить, свету... А ещё за то он Орлова ценил как никого другого, что, имея служебную дачу в Ильинском – с бассейном, кортом, прислугой, – Юрка, тем не менее, рафинированным интеллигентиком-чистоплюем не стал, трутнем-лежебокою, не пополнил ряды российской “золотой молодёжи”, что, будучи пустой и бездарной с рождения, но предельно прожорливой и завистливой, похотливой, жадной и злой, ради собственных удовольствий готова была на всё – на все самые утончённые подлости и пороки... И спортом Орлов занимался серьёзно, “пахал” в нём как проклятый несколько лет; и не теннисом каким-нибудь модным, не гольфом, а “плебейским презренным” футболом. И дружбу с простыми парнями водил, футболистами бывшими по преимуществу. И каждое лето – нонсенс для его окружения – в деревню работать ездил, грязь там в месте со всеми месил, питался стряпнёй дешёвой, жил в общежитии-казарме. Людей его уровня в институтах в студенческие строительные отряды никакими палками загнать было нельзя. Все они, слизняки мягкотелые, в Сочах и в Пицунде лето целое грелись, а то и потеплее где, мороженное ели там крем-брюле, “пепси” и “коку” пили, с длинноногими барышнями развлекались. Руками и задницей хватали те прелести, те соблазны, короче, что предоставляет богатому человеку цивилизация – и в ус не дули.

А Юрка – нет, Юрка был из другой совершенно породы, породы героев и победителей, и аскетов суровых особой закваски, какими славилась Русь во все времена, на которых одних и держалась. И таких развлечений тлетворных, беспутных, тебя изнутри разлагающих, он инстинктивно чурался – в силу здоровья душевного своего, крепости и бодрости Духа. Не привлекали его никогда ни барышни белозубые, загорелые, на всё за деньги готовые, ни празднующиеся трутни-юнцы, без пользы жизнь прожигающие, здоровье, богатство, время. Он был на удивление цельным, чистым и волевым, тружеником по натуре, работягой-строителем: строить очень любил, в деле серьёзном участвовать. И к таким же труженикам и тянулся, естественно, с ними душой отдыхал.

И личностью Юрка был превеликой – из тех, кому не требуются предводители и учителя, кто сам себя создаёт и над собой довлеет. Ещё и по этой причине, как думается, он ездил в стройотряд на всё лето, в смоленскую деревенскую глушь: проверить себя хотел, убедиться – выдержит он максимальных нагрузок, что предъявляет человеку жизнь? не скиснет ли? не сломается? не уедет с позором домой? Мужик он, в конце концов? – или дерьмо собачье? “золотой мальчик”, живущий за родительский счёт?

Андрей это всё хорошо понимал: почему барин Юрка к ним в отряд затесался, – и очень его за такое подвижничество уважал; хотя и держался с ним один на один крайне робко и крайне сдержанно, никогда не выказывал истинных чувств к нему, даже и намёка не делал... Да Юрка и не принял бы его чувств и похвал-комплиментов – посмеялся бы только. Уж больно он горд был со всеми и независим: сантиментов и разговоров душещипательных не выносил, не терпел пустозвонства и заверений праздных...

Кустов с Орловым не завершали в отряде список хороших ребят: при желании его можно было бы и дальше продолжить. Другие просто помельче и пожиже были, талантами и достоинствами своими не так сильно бросались в глаза. Ввиду чего не так крепко запомнились и полюбились.

Были и такие, конечно же, которых Андрей на дух не переносил, которых, будь на то его воля, выгнал бы вон в два счёта. Такие ездили в стройотряд дурака валять, пить и гулять два месяца, деревенских доверчивых дурочек портить – и тем самым позорить великое звание москвича, ко многому истинных москвичей обязывающее. Будучи разгильдяями, пьяницами и развратниками, они и работали через день, отгулы постоянно брали после ночных загулов, на стройке ходили “варёные”, сонные – никакие. Толку от них было чуть.

Но потом, когда все, измученные, уезжали домой в конце августа, они оставались в лагере с командиром: “на шабашку”, как это у них называлось, – чтобы доделывать и достраивать то – де-юре, но не де-факто, – что не успели достроить их уехавшие в Москву товарищи. Работать-то они в сентябре не работали по-настоящему: нормально трудиться те парни премудрые в принципе не могли, ни в отряде, ни в институте, – только водку с самогонкой пили безостановочно да по зазнобушкам бегали, да командиру одиночество скрашивали по вечерам, развлекали его как могли анекдотами, домино и картами. Но получали в Москве за свою “шабашку”, свою клоунаду сентябрьскую по двойной цене и, в итоге, заметно обгоняли по заработкам тех, кто работал все два месяца честно; кто, как положено, двадцатого августа домой уезжал: чтобы там отдохнуть и прийти в себя наконец, отъесться и отоспаться на перинах домашних, к учёбе хорошо подготовиться.

Командиру в Москве говорили про такую порочную практику и кормушку прибыльную, халаявную, что пройдох-паразитов кормила всласть: и мастер, и оба бригадира ему на это жаловались. Но Шитову одному оставаться в деревне на весь сентябрь было что нож острый – и скучно, и тоскливо, и страшно. Наряды-то закрывались не быстро, не одним днём. И деньги большие колхоз выдавал не сразу, которые в Москву боязно было ему одному везти, за которые, элементарно, в поезде могли и прибить лихие злобные люди.

И все об этом хорошо знали, понимающе трясли головой, соглашались невольно с доводами командирскими. Да и недоделки доделывать надо было – пусть медленно, пусть спустя рукава, – но доделывать. Наряды-то без них не закрыли бы, и вся работа двухмесячная, героическая, насмарку б тогда пошла. Это и дураку было ясно.

«Вы ж не захотели никто там со мной оставаться после двадцатого августа, – одно и то же всегда говорил в институте возмущавшимся бойцам командир. – Я бы те деньги лишние вам с удовольствием заплатил – любому бы... А вы бросили всё и умчались в Москву без оглядки. И хоть трава не расти – вам плевать, вы умыли руки. А как бы я там один целый месяц выкручивался, “бабки” вам выбивал? – вы про то и знать не желаете!... Ну и не возмущайтесь тогда, не предъявляйте претензий, нервы мне не мотайте! Оставайтесь там вместо меня – и командуйте, как хотите, и потом рассчитывайтесь по-честному с отрядом. Я только рад буду»... И возразить ему было нечем – ни мастеру, ни бригадирам. Потому что по-своему командир был прав.

Потому-то он всех этих делег пражно-живущих, что хорошо умели “пенки” с чужой работы снимать, чужими достижениями питались, чужим трудом, – потому он их весь сентябрь возле себя и держал, и платил им деньги хорошие; и бороться с ними, бездельниками, попыток не предпринимал, сколько б ему ни говорили, ни жаловались подчинённые. Он был мудрый парень, их командир, суровую армейскую службу прошёл, до старшины там, как-никак, дослужился, что само по себе о многом уже говорило. Кто служил, тот знает и подтвердит, что не всякого солдата или сержанта званием таким награждают, не всякому так фартит... И уже в армии, вероятно, он крепко-накрепко сумел усвоить, на усы свои намотать основательно, затвердить как строевой устав, что без “гнили” и “плесени”, без прощелыг-паразитов человеку обойтись и прожить нельзя, что стерильность искусственная и чистота, – она к добру не приводит. Потому уже, что её в природе и в жизни нет. Не было никогда и не будет.

«А коли так, коли паразиты существуют на свете, да ещё в таком огромном количестве, – резонно размышлял командир на досуге, оправдывая своё поведение, – то и нельзя подчинен-

ных от них ограждать, сажать молодняк в этакий футляр стеклянный. Не правильно будет это, не дальновидно и не умно... и очень и очень для них же самих, молодых пацанов, опасно!...»

6

Первый трудовой день Андрея Мальцева в стройотряде, начавшийся в девять утра, закончился в девять вечера: длился ровно двенадцать часов то есть, что было у них традицией со дня основания, которая соблюдалась строго. В течение этого времени у студентов-строителей был обед в два часа дня и коротенький полдник в шесть – с парным молоком и хлебом, – на которые ушло в общей сложности часа полтора, не более. Всё остальное время студенты работали, не покладая рук, и даже и перекуривали в работе.

До базы отдыха вечером набегавшийся за день Андрей, топором от души намахавшийся, еле-еле тогда дошёл на ноющих без привычки ногах, поужинал быстро, без удовольствия, и сразу же улёгся в кровать, даже и не став перед сном умыться, зубы чистить. Когда по лагерю объявили отбой, и командир в общежитии свет рубильником выключил, он, с головой забравшись под одеяло, уже крепко спал, ничего не помня вокруг себя, не слыша.

Он бы проспал до обеда, наверное, окажись он дома, на койке родительской, – так он тогда устал. Но на другой день, когда на часах и семи ещё не было и когда утренний сон его был особенно крепок и сладок, ему нужно было быстренько просыпаться и подниматься опять по командирской команде, торопливо спецовку на себя напяливать, обувать кирзовые сапоги. После чего, ремень на штанах затянув потуже и на ходу сон с себя ошалело стряхивая, начинать всё сначала как заведённому: умыться, завтракать торопливо, строиться, идти на объект километра два по пыльной грунтовой дороге; идти – и на ходу ранний подъём в душе проклинать и о сладком утреннем сне сожалеть-кручиниться, который так жестоко прервали, который уже не вернуть.

А там, на объекте, выслушивать мастера тупо, наряды от него получать, наставления-указки разные. И потом махать топором и лопатой до вечера под палящим июльским солнцем, строительной пылью дышать. И тайно задумываться при этом, с трудом пересиливая усталость, желание выспаться и на травке зелёной, пахучей, животом вверх полежать, что, может, зря он, чудака, всё это дело затеял – со стройотрядом-то: силой его в эту грязь и глушь никто ж в Москве не тянул. Мог бы сейчас вместо этого на каком-нибудь черноморском пляже нежиться, уехав туда по путёвке, сок виноградный там пить, есть алычу и арбузы, красавицами смуглыми любоваться, которых там не счесть. А мог бы с друзьями московскими, на худой конец, в Серебряном бору купаться, любимом их месте отдыха, в волейбол и футбол там с ними весь день играть, квас пить пахучий, пиво.

А он зачем-то приехал сюда, глупый, порывам юношеским поддавшись, и будет теперь возиться в этой грязи, в этом пекле строительном два месяца целых – самых лучших и длинных в году, самых для человека благодатных и комфортных. И ничего совсем не увидит кроме цемента, опилок, песка, кроме этого солнца нещадного, от которого здесь не спрячешься никуда, которое до костей сожжёт, в мумию превратит, в бумагу. На кой ляд ему это всё?! за какой-такой надобностью?! Жизнь-то – она одна. И быстротечна к тому же. Единожды даются человеку молодость и свобода, бесценные годы студенческие, которых назад не вернёшь, зови их потом, не зови, которые многие выпускники до старости вспоминают.

А что на пенсии станет вспоминать он?! Пахоту и грязь беспросветную?! Загубленные молодые годы?! Мифические коровники?! – сдались бы они ему... Вон ведь вокруг благодать какая! какие изумительные места! Где и когда ещё такую первозданную красоту встретишь?... И лес вон у них под боком – да ещё какой лес! Сколько в нём орехов, грибов и малины! Бабы местные и девчата ведрами это всё мимо них таскают, мешками, плетёными корзинами целыми. Останавливаются и показывают им лесные дары, сходить советуют в один голос. А

какой тут “сходить”? когда? – если у них всего один выходной был по плану в отряде: в середине августа, на день строителя, – до которого ещё надо было дожить, не помереть на стройке...

Мысли такие страшные, в голове как мухи нудно жужжавшие, отбивавшие силы поболее работы самой и в душе молодой, необстрелянной, особенно сильно гадившие, как те же коровы в хлеву, – такие мысли посещали Андрея часто в первые в деревне дни. В первые две-три недели даже, когда до конца строительства и до отъезда было далеко-далеко, почти как до старости и до пенсии. А их полупустой объект всё ещё из траншей одних состоял и досок наваленных, и целых гор мусора. И коровником, что они к осени сдать обещали, там и не пахло совсем. Какой там! Там даже и стенами-то не пахло достаточно долго, даже фундаментом.

И кирпича у них до середины июля не было, и с цементом вечно были проблемы – всё не хватало его, – и вообще было много-много разных проблем, удачное разрешение которых ему, новичку на стройке, представлялось очень и очень сомнительным... И спецовка грязная осточертела быстро, в которую по утрам не хотелось влезать, а постирать которую некому было; и сапоги надоели кирзовые и портянки, портившие студентам ноги, которые стали гноиться, преть от жары и болеть.

Потом к сапогам приспособились кое-как: командир научил молодых бойцов за ногами своими ухаживать, – приспособились и привыкли к работе, подъёмам ранним, ежедневному пеклу и грязи. Но стройка всё равно утомляла, утомляли её серые будни, в которых поэзии было мало, которые переносились с трудом.

И такое продолжалось до последнего дня по сути – такое ежедневное утомление и напряжение, и скрытая нервозность у всех, гасившаяся усилием воли. И последующие недели от первой в психологическом плане мало чем отличались: всё также хотелось забросить всё и без оглядки умчаться домой...

Но, несмотря ни на что, Андрей молодчиной был – держался, простору думам паническим не давал, не позволял им, подлым, долго в сердце своём гнездиться. Желание *выстоять* и *обещанный коровник построить* было гораздо сильнее в нём пессимизма, хандры и паники; устойчивее был и страх – *оказаться слабым и некудышным*... И Андрей с друзьями, зажав своё бунтующее естество в тиски, добровольно в работа превратившись, в живую клокочущую изнутри машину, – Андрей как проклятый всю первую неделю “пахал”, не подавал виду. Хотя и был бледен, угрюм, молчалив, до обеда вялый какой-то, не выспавшийся, не расторопный, Москву без конца вспоминавший во время работы, товарищей и родителей, что остались в Москве.

Ему мастер здорово тогда помогал поддержкой и словом добрым. Бригадир плотников Кустов его хорошо опекал, когда Андрей оказался в его бригаде. И матушка ему письма почти ежедневно писала: «крепись, уговаривала, сынок, мы тебя очень и очень любим, гордимся с отцом тобой, за тебя денно и нощно молимся». И отец добавлял от себя пару слов в письме – простых, корявых, но крайне-важных, от всего его сердца идущих, от всей души, – которых он дома сыну не говорил никогда, которых почему-то стеснялся.

И Андрею становилось стыдно за свой пессимизм, своё ребяческое малодушие.

«Выстоять, надо выстоять! к работе, стройке быстрее привыкать, быстрее становиться взрослым! – раз за разом, скрипя зубами, настойчиво внушал он себе, волю в кулак собирая. – Да – тяжело, да – муторно и очень при этом жарко! Всё оказалось сложнее гораздо, чем представлялось в Москве: романтикой тут и не пахнет... Но обратной дороги нет: обратно мне путь заказан. Уеду – перестану себя уважать. Чувствую, что потом опущусь и сломаюсь... Поэтому надо держаться, первую, самую страшную неделю перетерпеть, как Володька Перепечин нам говорит. А там легче будет: когда мозоли все заживут и мышцы болеть перестанут... А там и суббота наступит, глядишь, – в субботу-то уж я расслаблюсь...»

В субботу, которую он с таким нетерпением ждал вместе с другими парнями, у них в отряде по расписанию значился короткий день: до полудня они работали. Потом студенты-строители в бане парились от души – до кровоподтёков кожных и одури, – отдыхали кто как хотел, на танцах танцевали до глубокой ночи, с девчонками миловались. А в воскресенье им командир за это выспаться всем давал – поднимал на час позже, – что существенно отражалось на самочувствии каждого вверенного ему бойца, что бойцов стройотряда лучше молока и мясных деликатесов поддерживало. Вот из-за бани, клуба и лишнего часа сна приехавшие на стройку студенты о субботе и грезили постоянно – и молоденькие безусые москвичи, и повидавшие виды рабфаковцы; мечтали попариться и забыться, по деревне преспокойненько походить погулять, с силами, с духом собраться...

7

Худо ли, бедно ли, преодолевая усталость критическую, всеохватную, недосыпание вперемишку с паникой и в кровавых мозолях боль, что ладони и пятки его водяными бляшками облепили, – но первой своей субботы Мальцев с трудом, но дождался и получил возможность, наконец, расслабиться и перевести дух, спину выпрямить и отдышаться. За неделю намучившийся смертельно, он инструменты в бытовку убрал по команде мастера, вернулся в лагерь и пообедал быстренько, в бане тесной помылся, которую командир перед тем протопил и которая за свою тесноту совсем ему не понравилась. И после бани он, чистенький и благоухающий, на конюшню сразу же побежал, что по соседству с их стройкой располагалась.

Дядя Ваня, единственный конюх в колхозе, в обязанности которого входило пасти-выгуливать лошадей и конюшню старую чистить, на работе перетруждался не сильно – всё больше возле приехавших москвичей отирался: «рот сидел разевал» – как про него деревенские говорили. Бывало, утречком раненько выгонит своих подопечных в поле, на скорую руку стреножив их, и прямиком на строящийся коровник мчится, просиживает там на корточках до обеда: за студентами пристально наблюдает, их шумными трудовыми буднями, вызывавшими в нём интерес. Сам-то работать он не шибко любил – ни в колхозе, ни дома, – но за работниками, студентами теми же, как шолоховский дед Щукарь наблюдал всегда с любопытством. Не учил парней никогда, не подсказывал, инициативы не проявлял, а только сидел и смотрел, прищурившись, не дёргаясь и не вертясь, получая немалое удовольствие, видимо, от созерцания чужой работы.

Не воспользоваться таким подарком Андрей не мог: всю неделю желанного гостя обхаживал. «Возьми гвоздей, дядь Вань, пригодятся», – показывал он ему на только что вскрытые ящики, до верху гвоздями *соткой* заполненные, когда, к примеру, лотки под раствор мастерил или носилки, либо цементный сарай, и когда никого из ребят поблизости не было. «Да на хрена они мне?» – с ухмылкой отвечал на это вечно небритый конюх. И было видно, чувствовалось по всему, что он не врёт, не кривляется, комедии не разыгрывает перед молодым москвичом. И гвозди ему действительно не нужны: не за наживою он на стройку припёрся, не за колхозным добром, а исключительно из-за одного интереса... «Ну тогда скобы возьми, – с другого конца пытался умаслить чумазого мужичка Мальцев. – Новые скобы-то, только вчера привезли. Ими любые брёвна стягивать можно, хоть тонкие, хоть толстые, хоть шпалы те же. Ценный в хозяйстве материал». «А скобы мне на хрена? – чтоб во дворе валялись, ржавели?» – следовал невозмутимый ответ, ставивший Мальцева в замешательство. Ему-то необходимо было как-то дядю Ваню “купить”, к себе его привязать крепко-накрепко: чтобы потом с лошадьми все два месяца не возникало проблем, и брать их в любое время можно было бы, как он о том в Москве у себя мечтал, когда в стройотряд собирался.

Но дядя Ваня бедным, но стойким на удивление оказался, бесребреником редким: в сети расставленные не попадал и на приманки заманчивые не покупался. Он и вообще-то был мужиком удивительным, даже и сам по себе: этаким мечтательно-замкнутым чудачком-простаком, равнодушным к жизни, богатству, достатку. А для деревенского жителя он и вовсе был уникалом, феномен, редкий здесь обитатель. Деревенские-то, – они люди захватистые и оборотистые в основной массе своей, все до единого – скопидомы, все – “плюшкины”. За ними только успевай смотри: чтобы не упёрли чего и у себя в сарае не спрятали до лучших времён, до потребности. И понять такую их психологию безусловно можно: у них супермаркетов и толкучек поблизости нет. Поэтому им за каждой мелочью, каждым гвоздём нужно собираться и в город ехать, ноги себе толочь, обивать магазинов пороги. Да и зарплата в колхозе смешная в сравнение с городской. На неё особо не пощикуешь, не размахнёшься... Вот и приходится им вечно выгадывать и ловчить: жизнь их мелочными и запасливыми быть заставляет. Ротозеи и простодыры, как правило, с широкой душой в деревне не выживают.

Дядя Ваня был не такой, единственный “не такой” в Сыр-Липках. Лошадей утром в поле выгонит не спеша, придёт потом на объект тихонечко, сядет, кнут зажав между ног, и сидит на корточках молча полдня, на студентов бесстрастно взирая. О чём он думал в такие минуты? что в голове нечёсаной и немойтой держал? – кто ж его знает, кто разберёт. Разговорить его было крайне сложно. Говорил он и плохо, и неохотно: косноязычным ужасно был, с безобразной свистяще-шепелявой дикцией. Вот и сидел и молчал как каменный, как глухонемой – себя самого стеснялся.

Когда в два часа пополудни студенты устраивали перерыв, умывались и обедать готовились, он поднимался молча и так же молча шёл собирать “коняшек” – так он лошадей любовно всегда называл. Соберёт, отведёт их к пруду, где деревенские гуси с утками в изобилии плавали, попоит водицей тёплой, чтоб, значит, коняшки горлышки не застудили, и потом в конюшню гонит их всех. Хватит, мол, нагулялись, шабаш; мой, мол, рабочий день закончился.

Ну а потом он откуда-то мутный самогон доставал, непонятно как к нему попадавший, в “тяжёлые времена” – одеколон; и тут же залпом и опорожнял флакон, прямо так, без закуски; после чего падал пьяный в лошадиный помёт – тёплый, мягкий, пахучий. Если к ночи успевал протрезветь – домой возвращался, шатаясь; не успевал – в конюшне оставался спать, в “свеже-испечённую” четвероногим другом “лепёшку” обветренной мордой уткнувшись, как подушку тёплую её руками обняв: лежит, красавчик, нежится, посапывает от удовольствия... А ведь дома у него скотина была – гуси и куры, овцы те же, – жена имелась, большой огород с садом. Но ему, соколу вольному, до всего этого дела не было никакого и никогда: он только лошадами одними жил и самим собою. На вечные упрёки и угрозы жены – что перестанет-де его кормить, паразита, – он одно и то же всегда отвечал: «я без тебя наемся – подумаешь, угрожает! Тебе, отвечал, надо, ты и “паши”, а мне ничего не надо... Скажи спасибо ещё, – добавлял лениво, с неизменной брезгливостью в голосе и на лице, – что я тебя в жёны взял, дуру кривую, страшную, что в дом свой привёл хозяйкою. А то бы до сей поры старой девой жила, с маманей своей помешанной на пару бы “куковала”. Кому ты, кроме меня, нужна? – уродина!»

Жена, измучившись с таким муженьком, все руки об него отбив, дармоеда, весь обтрепав язык до последней жилки, махнула на него рукой. Сама и копала всё в огороде, сажала и убирала потом; и скотину водила сама и кормила. И даже за зарплатою мужниной два раза в месяц в колхозное правление бегала, самолично деньги его получала – чтобы, значит, неудельный Ванюшка свою зарплату грошовую в два счёта не просадил и с носом её не оставил, с голою задницей. «С драной овцы хоть шерсти клок, – говорила обречённо кассирше, бумажки полученные в платок заворачивая и платок тот под кофтой пряча, – хоть такая от него, чухонца, мне польза будет... Жрать-то он за стол садится, бездельник, когда протрезвеет. И портки ему какие-никакие нужны, и рубашки. Не в Африке, чай, живём – голышом тут у нас не побегаешь».

Таким вот интересным дядькой был деревенский конюх-пастух – живущим в миру монахом-отшельником, можно сказать, или шукшинским “чудиком”. И “купить” его на гвозди и скобы не представлялось возможным: не покупался он на подобный хлам... А пол-литра у Андрея, универсальной местной “валюты”, не было никогда: не дорос он ещё до подобных тонкостей, – как не было у него и денег... А на лошадках в субботу ох-как покататься хотелось: ведь столько было в деревне красивых молодых лошадей, которые завораживали Андрея природной мощью и статью и к себе упорно манили – куда больше даже местных востроглазых девчат, до которых он не был охочий. Вот он и приставал к молчуну-конюху ежедневно: «дай, уговаривал его, покататься, не жмись; ты же мне, вспомни, в первый день обещал: тому и вьетнамец свидетель».

Но, такой сговорчивый и покладистый в пьяном виде, трезвый конюх, наоборот, полную противоположность являл: был сдержан, суров до крайности, на обещания и посулы скуп: уже не сулил никому золотые горы. А когда дело до лошадей доходило, которых он больше жизни любил, – то тут он и вовсе щетинился весь, нервничал не на шутку, а порою и злился. «Лошадки мои и так работают целыми днями как каторжные, телеги тяжёлые по деревне таскают, бочки, – сквозь зубы бормотал холодно. – А ты их ещё под собою хочешь заставить скакать, совсем заморить их, бедных». «Да не заморю, дядь Вань, не заморю – не бойся! – упрашивал его Андрей. – Я буду бережно ездить, тихо, слово даю! буду жалеть их, кормить во время прогулок! Поляну лучшую тут у вас отыщу – и пушу пастись: пусть травки сочной вволю покусывают, подкрепятся, пока я рядом ходить-гулять буду». «...Ну-у-у, не знаю, не знаю, посмотрим», – отговаривался трезвый конюх от Мальцева, как от мухи назойливой от него всю первую неделю отмахивался. И заметно было по его кислому виду, что просьба такая странная крайне не нравится, неприятна ему, что он Андрею не доверяет...

Но Андрей в субботу на конюшню всё ж таки прибежал и стал уговаривать её хозяина уже конкретно. Напористо уговаривал, жарко: дай, дескать, лошадь, и всё тут; а иначе не уйду от тебя, не отстану.

«А ты ездить-то умеешь верхом? не свалишься? шею себе не сломаешь?» – прибег к последней уловке конюх, внимательно на молодого просителя посмотрев, в глаза его озорные, лукавые. «Конечно, умею, конечно! Ты чего спрашиваешь-то?! – решительно и без запинки соврал хитрюга московский, понимая прекрасно, что от ответа этого всё дело теперешнее зависит, как и давнишняя его мечта. -...Я же несколько лет, – горячо принялся он далее врать, – в конно-спортивной школе в Битцевском парке тренировался, на чистокровных рысаках там ездил, один – без тренера! Точно тебе говорю, не обманываю! Знаешь, как я там по аллеям гонял! – только в ушах свистело!»

Делать было нечего. Пришлось дяде Ване морщиться, материться беззлобно, затылок недовольно чесать, – но лошадку всё же давать, предварительно молодому наезднику два условия жёстко поставив: чтобы, значит, в галоп её не гонять, как он это в школе конно-спортивной делал, и чтобы более двух часов верхом на ней не кататься. Условия были безоговорочно приняты, стороны ударили по рукам. Светящийся счастьем москвич даже обнял мужика в сердцах и наобещал ему на будущее много всякого хорошего сделать, что недовольному конюху совсем и не нужно было, от чего он отмахнулся сразу же: да ну тебя, мол, совсем со своей трескотнёй, надоел уже; езжай давай побыстрее, репей приставучий, с моих глаз долой, пока я не передумал...

Так вот и получил себе Мальцев Андрей свою первую в жизни лошадь – старого полуслеплого мерина по кличке Орлик, которого уже давно списали в колхозе, который свой век доживал. И катался он на Орлике часа три, до ужина, пока ягодицы в кровь не стёр о его хребет костлявый. Седло-то дядя Ваня ему не дал, пожадничал старый лошадиник; одну уздечку и выделил только. «Ты чего, какое седло?! – замахал он руками решительно. – Оно тут у меня

одно, единственное. Я сам его только по праздникам на коня надеваю. А так – берегу, на собственной заднице езжу».

Вот и Андрей три часа кряду на заднице ездил – шагом всё время, не егозил, потому как старого Орлика даже и на лёгкую рысь было тяжело разогнать: он и шагом-то спотыкался... Но даже и так верховая езда возбуждала – сбылась давнишняя его мечта. Он – на лошади, он – в деревне. Вокруг него невиданной красоты места и никого совершенно рядом, ни единой живой души. Тишина и покой – как в Раю. Только он и природа, и Небесный Отец повсюду, Который внимательно за ним наблюдал, воистину по-Отцовски, Кто наконец праздник такой устроил ему, чудачу, с коим ничто не сравнится. Давай, Андрей! Давай, милый! Давай, мой родной! Живи и дыши полной грудью, блаженствуй, ликуй и радуйся! – будто бы неслоь отовсюду в уши чарующим небесным эхом, – пей красоту, не ленись, до одури ей наслаждайся. Когда и где ты такое ещё увидишь, подумай?! В переполненных городах такой красоты давно уж нет...

Он объехал в тот день, распевая песни, все поля окрестные и леса. Слезал пару раз на землю – отдых коню давал, а сам ходил разминался, по сторонам с восторгом смотрел, в густой пахучей траве как в перине только что взбитой, раскинув руки, валялся, покуда Орлик бесстрастно эту сочной траву жевал сточенными до корней зубами, пока набивал травой свой провислый дряблый живот... В лагерь вернулся к семи часам счастливый необычайно и гордый (ещё бы: с коня не упал ни разу, ездил очень даже уверенно), поужинал вместе со всеми и стал после этого в клуб собираться с приятелями, где танцы начинались в восемь – главное развлечение для приехавших в колхоз москвичей.

Вьетнамца Чунга в общегитии не было: тот в клуб раньше всех убежал, чтобы кино там ещё успеть посмотреть бесплатное, которое для колхозников летом еженедельно крутили и на которое люди охотно шли. Андрей заранее про это знал: Чунг ему сообщил про кино ещё днём в столовой, – поэтому-то дружка своего нового, стройотрядовского, не искал, со всеми настраивался идти, в общей куче...

8

На танцы бойцы ССО “VITA” отправились в половине девятого вечера. Пошли всем составом на этот раз, включая сюда и командира с мастером, что бывало у них не всегда: не часто предельно-занятые Перепечин с Шитовым по танцулькам и клубам шатались из-за нехватки времени. Да и из-за начальственного статуса своего – тоже, который им многого не позволял, что было дозволено и приемлемо для подчинённых. Оба, к тому же, были женатыми, и верность супружескую блюли, на сторону в открытую не ходили... Но тут суббота первая выпала, первый укороченный день, отдых законный, заслуженный. И никаких ещё важных дел впереди, перебоев с поставками, задержек, авралов, нарядов строительных, расценок и номенклатур, трудов бумажных, ответственных, переговоров с Фицулиным и прорабами... Так что гуляй пока, веселись – пока работа и ситуация позволяли. Они ведь в сущности молодыми были по возрасту, Перепечин с Шитовым, и ничто человеческое им не было чуждо, наоборот – интересовало и волновало обоих. Хотя, повторим, они не опускались до грязи и пошлых развратных сцен с оголодавшими деревенскими дурочками, чем порою грешили некоторые студенты. Никаких скандалов со сплетнями, шумных любовных хвостов ни за одним из них не тянулось.

Итак, на танцы пошли всем отрядом, и дошли до клуба, переговариваясь, за пятнадцать минут – все чистенькие, свеженькие, отдохнувшие, все в новеньких куртках своих, особенно местных девчат привлекавших. А в клубе ещё кино продолжало идти – индийское, длинное, душещипательное, – с песнями звонкими, непременно стрельбой под конец, слезами и кровью любимых. И надо было, хочешь, не хочешь, а окончания ждать, пока там бабы-доярки и

скотницы настрадаются и наплачутся, на улицу нехотя выйдут, молодёжи место освободят для топтаний под музыку, шушуканий и обниманий.

Студенты, всё это предвидевшие, ещё и в прошлом году натыкавшиеся на такие накладки не раз и потому и в клуб не спешившие, расселись дружно на близлежащей поляне неподалёку от входа, стали балагурить от скуки, курить... Ну и пришедших на танцы девушек обсуждать, естественно, что у клуба плотной толпой стояли, что задолго до них пришли.

Затерявшийся в общей массе Андрей, в гуще товарищей молодых усевшийся, тоже начал тогда по сторонам с любопытством смотреть, девчонок вместе со всеми украдкой разглядывать, которых он, боец-первогодок, ещё и не видел ни разу, не знал, ни с одной из которых прежде дружен-знаком не был. И как только он на них посмотрел, взглядом стыдливым, быстрым всех их разом окинул, – он в середине их группы светловолосую, ладно-скроенную красавицу увидал, с трёх сторон расфуфыренными подружками окружённую.

Он увидел её – и вздрогнул, машинально голову в плечи вобрал, неожиданно чего-то вдруг испугавшись; замер, побледнел и напрягся, истому сладкую внутри ощутив вперемешку со спазмами, вслед за которыми больно, но сладко опять-таки заныло-затрепетало сердце. Перед ним, очарованным, будто бы вспыхнуло что-то ярко-преярко – перед глазами его прищуренными, в сознании, – Лик Божественный будто бы проявился самым чудеснейшим образом среди мрака, обыденности, суеты, правду Жизни ему приоткрывший на миг, её смысл великий и назначение.

Потрясённого и опешившего Андрея, внезапным видением очарованного, окутали лёгкая дрожь и смятение, и незабываемый души полёт, первый – и оттого, может быть, самый острый, самый запоминающийся, – когда он в толпу красавиц местных, робея, вторично стыдливо взглянул и *одну-единственную* там увидел, которая так поразила его стремительно и, одновременно, околдовала, что он надолго замер, затрепетавший, и во внимание весь обратился, в безграничное удивление и волнение, и какой-то щенячий детский восторг. Он невольно залюбовался ею, зардевшийся, умилённо и жадно на неё засмотрелся; а засмотревшись, переменился в лице, покрываясь краской волнения и стыда, чего с ним отродясь не было. Не испытывал он ранее никогда подобных сердечных чувств, что по остроте, накалу и качеству напоминали опасное стояние над обрывом.

И головкой девушки он залюбовался невольно, пышной шапкой вьющихся пшеничного цвета волос, пушистых и лёгких несмотря на обилие, девственно-мягких, девственно-чистых, что по плечам и лицу её разметались вольно, ласкали ей плечи и грудь; залюбовался глазами огромными – в пол-лица! – через которые смотрела на мир её белокрылая голубка-душа, и в которые даже и издали страшно было заглядывать. Без привычки-то! Потому что запросто можно б было погибнуть – исчезнуть, дух испустить, утонуть. Глубокими, жуткими были глаза как колодцы; повадка в них чувствовалась, характер, настойчивость, воля и сила.

А ещё подмечал Андрей, следя за своей избранницей неотступно, что она как будто чужая была в толпе или случайно знакомая, и с окружавшими её подругами, хоть и стояла в центре, общалась мало и неохотно, что больше за парнями московскими наблюдала, хотя и скрывала это, пыталась скрыть... Но по тому, как играл румянец на её щеках и поминутно вздрагивали и расширялись ноздри на маленьком милом носике, как нервно теребили пальцы сорванный на дороге цветок, – по всем этим косвенным признакам можно было с уверенностью заключить, что она волнуется и не слушает, мимо ушей пропускает надоедливую болтовню. И только сердечко своё трепещущее стоит и слушает: что сегодня подскажет и посоветует оно ей, на кого из парней укажет – и укажет ли...

Минут через двадцать фильм, наконец, закончился, и распахнулась входная дверь. Пожилые колхозницы, наплакавшись вволю, настрадавшись над страстями восточными, долгоиграющими, чередой пошли из клуба, на улице глаза вытирая платками, рукавами кофт шерстя-

ных. И тогда, им на смену, туда повалили их детки. Пошла и избранница Мальцева в окружении подруг, спиной к парням повернувшаяся.

Поднялся и пошёл следом за ней и Андрей с друзьями, получивший прекрасную для себя возможность ту девушку уже всю разглядеть – и сбоку, и сзади, что очень важно! – полное впечатление о ней составить, не совсем понимая ещё для чего... И удивительное дело – с ним такое впервые в жизни, опять-таки, происходило, – чтобы и после этого, после такого придиричвого заинтересованного осмотра, всё ему понравилось и полюбилось в ней, пуще прежнего зацепило и взволновало. И при этом не оттолкнуло ничем, не покорило и не поморщило. Удивительный, невероятный случай! Можно даже сказать – диковинный!

Такого с ним и в Москве не случалось ни разу! А уж столько красавиц он там через свои прищуренные глаза пропустил и столько неудовлетворительные оценки в итоге выставил: то у них ножки были не те, кривенькие и тоненькие, то спинки сутулые; то попки худы или, наоборот, толстоваты, а то и походки косолапо-корявые, как у гусынь, что на них и смотреть было тошно... А тут – нет, тут всё было соразмерно и гармонично в плане внешнего вида и форм, почти идеально. И первый его восторг поэтому не проходил. Не проходило, а только усиливалось и возбуждение.

И рост её ему очень понравился, чуть ниже среднего; и походка ровная и спокойная, твёрдый шаг; и ровные, почти эталонные ножки. А фигурка какая ладненькая и плотненькая была: не толстая, как у других, не худая – нормальная. Как в норме у этой девушки было всё – изящно, правильно и грациозно. Во всём благородство и порода чувствовались, в отличие от её нескладных подруг, которые красоту её только усиливали и выделяли.

«Она не деревенская жительница – это точно! – с восторгом думал Андрей, шедший за нею следом. – Наверное, в гости к кому-то приехала – отдохнуть...»

С такою догадкой и переизбытком чувств, шальной, возбуждённый, светящийся, он и зашёл тогда в клуб вместе с приятелями и был поражён, переступив порог, его размерами внутренними: длиной, шириной. Снаружи-то клуб казался большой избой, впечатление производил жалкое, если убогое не сказать. А изнутри, как ни странно, он был в полном порядке и вполне приличных размеров. Он будто раздвинулся в длину и вширь специально для танцев и был способен вместить, даже и на беглый прикид, не один десяток народу. И сцена в клубе была, и кулисы, и даже два выхода запасных выделялись на противоположной стенке. Лампы вот только тусклыми были, были низкими потолки – немного давили и угнетали Мальцева после четырёхметровых московских его потолков. Зато танцевать или кино смотреть они не мешали ни сколько.

Зашедший внутрь в общей массе, Андрей вначале растерялся даже от той сутолоки, что творилась тут, обилия молодёжи, духоты, суеты. И растеряться было не мудрено: первый раз он пришёл на танцы, если выпускной бал не считать, с которого он ушёл очень быстро. А так ни в школе, ни в институте он на подобные сборища не ходил – ему требовалось время на адаптацию.

И пока он рассматривал всё, привыкал, пока в окружающую обстановку вживался, товарищи его разбежались по разным местам, и он остался в дверях один и не знал совершенно, что делать ему, куда встать, к кому из ребят прицепиться. Растерянный, он только успел заметить, как поразившая его на улице девушка с подругами к сцене пошла, что слева от входа располагалась, остановилась у середины сцены, развернулась к залу лицом, после чего терпеливо ждать принялась, когда деревенские парни просмотрные кресла сдвинут, площадку для танцев освободят, музыку потом включат.

Кое-кто из наиболее резвых студентов бросился местным парням помогать, другие магнитофоном занялись на сцене, третьи, самые хитренькие, к девушкам стали пристраиваться, ещё до танцев их меж собой разбирать. Командир же с мастером и бригадами у сцены важно

остановились, у ближнего её конца, на всё происходящее с ухмылкой посматривая, контролируя всё и тут. И только застывший на входе Андрей, предельно сконфуженный и оробевший, без приятелей по отряду оставшийся, как-то вдруг сразу сник один, побледнел, разнервничался, разволновался, понимая прекрасно, что нужно что-то предпринимать и побыстрее уходить от дверей, что впечатление он производит жалкое.

От одиночества он принялся головой по сторонам вертеть, угол себе искать укромный, где можно было бы незаметно встать, от глаз посторонних спрятаться. И как только он направо голову повернул и взглядом испуганным, диким до противоположной от сцены стены добрался, – он вьетнамца Чунга увидел там, что возле кинопроектора с какой-то темноволосой женщиной стоял и оживлённо о чём-то беседовал, хохотал даже.

Чунг его тоже заметил, в дверях истуканом застывшего, рукою ему помахал, к себе настойчиво подзывая. Обрадованный зову Андрей, с которого как гора с плеч свалилась, скорым шагом пошёл к нему, неубранные стулья по дороге сбивая.

– Елена Васильевна, познакомьтесь, это Мальцев Андрей, лучший мой друг в отряде, – на ломаном русском обратился вьетнамец к своей собеседнице, невысокой приятной женщине средних лет, скромно, но опрятно одетой и на колхозницу совсем не похожей по виду, когда Мальцев вплотную приблизился к ним и робко остановился рядом. – Мы с ним здесь в общегититии на соседних койках спим, вместе и работаем и отдыхаем.

– Здравствуйте, – поздоровался Мальцев поспешно и также поспешно представился, уже сам. – Андрей.

– Очень приятно, Андрей, добрый вечер. Меня Еленой Васильевной зовут, как вы уже слышали, – улыбнулась женщина просто, на подошедшего парня внимательно посмотрев, дольше положенного взглядом на нём задерживаясь, вспоминая будто бы, видела она его раньше, нет. – ...Вы первый раз к нам приехали? – спросила его, чуть подумав. – Я по прошлому году Вас что-то не припоминаю.

– Первый, да, – последовал быстрый ответ. – В прошлом году я вступительные экзамены только ещё сдавал, в Москве пропадал всё лето, и помнить Вы меня не можете.

– Вы, стало быть, первокурсник бывший, – понимающе закивала головой женщина. – А теперь на второй курс перешли.

– Да, перешёл. Сессию сдал в июне и автоматически второкурсником стал, как и все, как и положено в институтах.

– Не успели от экзаменов отдохнуть, значит, – и сразу сюда к нам – на стройку. Не тяжело? – без отдыха-то.

– Нормально. Отдохнём под старость, когда на пенсию выйдем, – отчего-то вдруг решил сбалагурить Мальцев с незнакомой ему местной дамой, москвичом себя показать. – А пока молодые и крепкие – работать надо: страну обустраивать, из нищеты, из убогости её, родимую, поднимать. Спать и дурака валять некогда.

Ничего не сказала на это Елена Васильевна – только улыбнулась задумчиво, добро, устало чуть-чуть. Но по лицу её просиявшему и разгладившемуся было видно, что ей понравился такой бравый ответ, как понравился, по-видимому, и сам отвечавший...

Но Андрей настроения женщины не заметил, потому что уже отвернулся от Чунга и от неё – золотоволосую красавицу глазами искать принялся, которая на улице так его поразила, которая не выходила из головы, каруселью праздничной кружила голову. Нашёл её, сердцем вспыхнул опять, пуще прежнего от её красоты загорелся, что в тесном и тёмном клубе даже ярче чем на улице проявлялась, светилom небесным не затенённая, сама на время будто бы светилom став... Она по-прежнему стояла у сцены, плотно товарками окружённая, поясok теребила на платье и по сторонам посматривала тайком, танцев ждала со всеми вместе – всё такая же пышная, яркая, благоухающая, счастье излучающая окрест, надежду, здоровье, молодость.

С ума можно было сойти от неё, право-слово, “умереть и не встать”. В особенности, таким необстрелянным паренькам, как Мальцев, ещё не растратившим силы чувств, которые в нём, как молодое вино, только ещё бродили.

Андрей и сошёл – и такое чудачество в клубе устроил, которого при всём желании растолковать и объяснить не смог бы, спроси его кто о том после танцев; что стало откровением и для него самого, чего он в себе не знал, не подозревал даже.

Как только было расчищено место от стульев, и парни на сцене с магнитофоном сладили, на полную мощность включили его, звонкой музыкой клуб наполнив, вальсом Доги из кинофильма “Мой ласковый и нежный зверь”, – в этот момент наш околдованный незнакомкой Андрей вдруг сорвался с места, про Чунга и Елену Васильевну позабыв, что было с его стороны не вежливо, бестактно даже, и пулей понёсся к сцене, никого не видя перед собой, только одну красавицу ясноглазую видя.

«Успеть бы, успеть бы только первому её пригласить! – было единственное, о чём он думал-переживал на бегу, о чём мечтал неистово. – Не опередили бы!»

Опередить его не успел никто: бегал и ходил он тогда очень быстро. Первым к девушке подскочил, удивление со всех сторон вызывая, первым ей предложил тур вальса. «Разрешите Вас пригласить», – произнёс решительно, твёрдо, при этом сам поражаясь себе, самоуверенности своей и нахальству, себя перестав контролировать совсем.

Его визави вспыхнула, краше прежнего став – румяней, милей и желанней, – обожгла его взглядом пристальным, от которого у Андрея мурашки пошли по спине величиной с горошину. На его лице она задержалась чуть дольше положенного, при этом вероятно жалея, что в клубе было темно и рассмотреть как следует лицо партнёра не представлялось возможным; после чего потупилась, на подружек притихших мельком взглянула, словно совета у них ища, одобрения или подсказки. Потом опять на Андрея перевела взгляд, будто бы в душу ему заглянуть стараясь и попутно решить главнейший для себя вопрос: надо ли соглашаться? – не надо? её ли то был кавалер? – не её? и есть ли он тут вообще – её единственный, её ненаглядный?

Быстро решить такое она, естественно, не смогла, петушком подскочившего парня по достоинству в полумраке не оценила, как следует не разглядела даже: он для неё в тот момент словно откуда-то с неба упал или, наоборот, из-под земли появился...

Товарки же её, меж тем, торопливо расступились с улыбками, дорогу ей расчищая для танца и как бы подбадривая её и подзадоривая одновременно: давай, дескать, иди, подруга, коли тебя так страстно, так напористо приглашают, коли сломя голову бегают к тебе через зал... И она, ещё раз потупившись, с духом будто бы собираясь, с силой, осторожно шагнула вперёд и на центр клуба этакой павой пошла под перешёптывания и ухмылки, под удивлённые возгласы со всех сторон – и мужские и женские одновременно, и добрые, обнадеживающие, и язвительные.

Вышла, остановилась, к Андрею повернулась лицом, что неотступно шёл за ней следом, пронзила взглядом его насквозь будто бы шильцем тонким. И вслед за этим руки ему положила на плечи, тяжёлые, пухленькие, горячие как утюжки; и в другой раз при этом подумала будто бы: мой ли? не мой ли? правильно ли я поступаю сейчас, дурёха?

От прикосновений тех Андрей ошалел окончательно, от жара и тяжести женских дурманявших разум рук, что на грудь и плечи ему легли и впервые о себе заявили. До этого-то он девушек не знал совсем: в отношениях с противоположным полом был совершенным ягнёнком... А тут ещё и роскошные волосы девушки, что озорно опутали его со всех сторон паутинкой шёлковой, духи её терпкие, упругий стан, такой же горячий и тяжёлый как руки! Всё это было так ново и остро, и сладко до одури, так действовало на нервы и психику возбуждающе, на природное естество! – что впору было ему, очумевшему, криком кричать на весь клуб, ломать и крушить всё вокруг, дурь из себя выпуская!...

Встав как положено и чуть прижавшись друг к другу, они закружились в танце на зависть всем, другим указывая дорогу, давая пример. И через минуту десятки пар уже заполнили “пятак” перед сценой: молодёжный бал начался. Мальцева с его партнёршей затёрли быстро, окружили со всех сторон танцующие парни с девушками. И они оказались в плотном живом кольце, отчего им обоим чуть легче стало: они уже не так бросались в глаза, были не столь приметны...

И на середине вальса разгорячённый, вокруг себя не видящий никого Андрей, пользуясь ситуацией подходящей, вдруг нагнулся и в самое ухо партнёрше своей шепнул, в волосах её путаясь и утопая:

– Вас как зовут, скажите пожалуйста?

Девушка вздрогнула, напряглась, чуть-чуть отпрянула от Андрея, в третий раз за какие-то пару-тройку минут на него удивлённо взглянула, пытается будто бы решить для себя окончательно: нужен ли ей этот шустрый москвич? стоит знакомиться с ним, называть своё имя?... После чего, через длинную паузу, произнесла заветное слово: “*Наташа*”, – которое Мальцев до этого слышал уже сотни раз, но которое в клубе услышал будто впервые. Оно вещим сделалось для него, а может и судьбоносным.

– Очень приятно. А меня Андреем зовут, – утопая в её волосах, зашептал он ей быстро-быстро, на кураже, одновременно беря её правую руку, что у него на груди лежала, в свою ладонь, пальцы её нежно сжимая... И потом, слыша, что танец кончается и скоро расставаться придётся, разбегаться по разным углам, он вдруг выговорил совсем уж крамольное, голову от музыки и от танца окончательно потеряв. – Наташ, а давайте с Вами уйдём отсюда. По деревне погуляем пойдём, воздухом свежим подышим. А то тут тесно и душно у вас, и шумно очень.

– Нет, я не хочу уходить, – решительный ответ последовал, после чего партнёрша Мальцева руку свою из его пожатий освободила и положила её ему обратно на грудь: так, дескать, лучше, правильней и спокойней будет.

– Почему? – спросил Андрей тихо, бледнея, в чувства прежние приходя, нормальные, докуражные.

– Мне сегодня потанцевать хочется: я только пришла.

– ...Ну хорошо, а в следующую субботу погуляем с Вами?

– ...Не знаю... Посмотрим, – ответила Наташа неласково, пристальным взглядом сопровождая ответ, столько воли, ума, благородной выдержки излучавшим, чистоты, доброты, красоты...

Когда первый субботний тур вальса подошёл к концу, и музыка в клубе стихла, минутной паузой обернувшись, а пары танцующих парней и девчат стали стремительно распадаться, чтобы через минуту-другую опять сойтись и закружиться в танце, расстроенный и на глазах как-то сразу сникший Андрей, прежнего куража и силы лишившийся, душевного задора и праздника, – Андрей, поблагодарив партнёршу, на прежнее место её отвёл, попрощался быстро, ни на кого не глядя, развернулся и вышел из клуба вон, красный, распухший, жалкий. Остаться на вечере после случившегося, после отказа фактического, было ему тяжело. Он не знал, не ведал совсем, как переносить отказы; и как дальше с понравившейся девушкой себя вести, которая тебя отвергла... Поэтому ему легче и лучше было уйти – с глаз долой. Он и ушёл с позором.

На улице он свежего воздуха жадно глотнул, тряхнул головой с досады. После чего скорым шагом направился в школу, назад не оглянувшись ни разу, и долго ещё слышал позади себя, как веселится-танцует переполненный молодёжью клуб, разудалой музыкой раздражаясь.

Всю дорогу до лагеря он нервно хмыкал себе под нос, губы кривил досадливо, над собой от души потешался – и удивлялся сам над собой, над сотворённым в клубе чудачеством. Состояние его в тот момент описать было сложно, как сложно описать, к примеру, изодранную в кло-

чья книгу или вдребезги разбитый кувшин, от которых остались клочки ненужные и черепки – утиль, одним словом, мусор. И только-то... Чего тут описывать и говорить? – тут молчать и печалиться надобно...

До школы он дошёл быстро, минут за семь, разделся, улёгся в кровать, с головой одеялом укутываясь как больной – то ли душевно, то ли телесно. Потом одеяло скинул решительно, огнём изнутри горя, на спину перевернулся, огненный, в потолок стеклянными глазами уставился. И при этом продолжал хмыкать, кривиться и морщиться – поражаться себе, своей безалаберности и неudelности...

9

Следующую неделю после того злополучного и, одновременно, счастливого вечера Андрей настойчиво думал о встреченной в клубе девушке, о Наташе, увидеть которую ему очень хотелось, получше её рассмотреть и ещё раз порадоваться-полюбоваться, пусть даже и со стороны, как он в первую субботу делал. Уже одного этого ему, юнцу, было б вполне достаточно. Он был бы и этому рад, и за это сказал бы спасибо... А лучше бы – потанцевать опять, прижать её к себе покрепче и жар её тела почувствовать вновь, запах щёк и волос: так сильно она его за душу зацепила, запалила душу огнём, который гаснуть не собирался!

Но как это сделать? И надо ли? И получится ли?... Бог весть!... Ему и страшно, и одновременно стыдно было от мысли, что она опять его отошьёт – при товарищах-то. И уходить придётся с позором, ночью опять плохо спать; а потом ходить по объекту и мучиться, чёрными мыслями себя изводить, дурацкими переживаниями. Это вместо того, чтоб работать и строить, а вечером отдыхать.

Вот он и силился и не мог понять, всю голову сломал над проклятым вопросом: отказала она ему окончательно, без всяких шансов на будущее... или как? Сильно обиделась за то дурацкое приглашение погулять – или не обиделась всё же, а хотела действительно потанцевать, что было с её стороны делом естественным и законным? И он напрасно фыркнул поэтому, напрасно ушёл? Получится у него с ней что-то в следующий раз? – или про это даже и думать не надо, а лучше выкинуть блажь такую из головы? Стоит ли ему, самое-то главное, дальше с ней амурничать продолжать? на что-то положительное для себя рассчитывать? потворствовать чувствам внезапно возникшим, инстинктам дурацким, страстям? Может, подавить их усилием воли – и всё, конец внезапному наваждению? Чем хорошим может закончиться этот стихийный сельский роман, который ему был сто лет не нужен, который в планы его не входил? Наоборот, на стройке был лишней обузой.

Вспоминая прошедший вечер до мелочей, восстанавливая его в памяти раз за разом, он только диву давался и поражался тому, как вёл себя там развязно, дерзко до неприличия и непредсказуемо; поражался и одновременно пытался понять: какая муха его укусила?! Ведь скажи ему кто ещё в пятницу, например, что он может к девушке незнакомой запросто подойти, запросто её пригласить на танец, имя её во время танца спросить, позвать погулять по деревне – это с девчонкой-то! – он бы тому потешнику-балаболу рассмеялся прямо в лицо, обидным словом его обозвал. Может быть, даже и матерным. А всё потому, что девушки для него были существами особенными всегда, диковинными и запретными, если сказать точнее. Он сторонился, боялся их как огня – и в школе все десять лет, и потом в институте.

У него и друзья все были такие – пугливые и абсолютно дикие, – весь двор у них был такой: строго на мужскую и женскую часть поделённый. Девушки развлекались и гуляли отдельно – своими компаниями, своими играми; парни, соответственно, тоже. И попыток сблизиться, соединиться из них не делал никто. Всё это тут же высмеивалось грубо и достаточно жестоко порой, подвергалось обструкции. Парень, что с девчонкой ходил и слюнявился, шуры-муры крутил по подъездам, роман заводил, становился изгоем сразу же, пропащим слюн-

теем-бабником. А это было у них во дворе самой обидной, самой презираемой кличкой, от которой не спасало потом ничто, никакие подлизывания и заискивания, никакие подарки. На нём авторитеты дворовые ставили жирный крест, и его как котёнка паршивого ото всюду гнали, третировали безбожно. Ему надо было или съезжать со двора, на новое переезжать место жительства, или же жениться быстрее и с молодой женой сидеть и вдвоём развлекаться на кухне. Иного выхода у него, женолюбца-лизунчика, не было.

Такие порядки строгие, пуританские, заведены были у них во дворе давно. Были и люди, которые за ними строго следили. В доме Мальцева, например, модно было быть холостяком среди молодёжи. И многие взрослые обалдуи, что с Андреем в футбол и хоккей играли, домино и карты, холостыми ходили до тридцати и более лет, в женоненавистниках суровых числились, не в сладострастниках. Они судили о женщинах подчёркнуто грязно и грубо. И грубость ту неизменную возводили в культ, в достоинство личное, в подвиг даже. Паренькам желторотым как догму священную, самую главную, грубость и хамство втолковывали – будто бы их самих и не женщина-мать родила, а хохлатая наседка в крапиве высидела.

«Курица – не птица, баба – не человек; баба – это самое ушрое на свете животное, – ухмыляясь, пиво посасывая из бутылки, внушали они своим корешкам-малолеткам, когда вечерами во дворе поболтать собирались или когда после футбола купаться шли. – А для настоящего мужика, учтите, баба и вовсе смерть, или стихийное бедствие. Попробуй только свяжись с нею, телесными прелестями её увлекись. Всё – пропадёшь задарма, паря, конец будет твоей вольной счастливой жизни. Удовольствия поимеешь на грош, на полчаса по времени, а хлопот потом не оберёшься: всю душу из тебя за те удовольствия мнимые вытянет, кошка драная. Сядет на шею нагло и будет всю жизнь помыкать, деньги и силы вытягивать. Уж сколько таких случаев и примеров было, сколько лихих мужичков пострадало от них, их проклятого бабьего племени. Стелют-то они все мягко, стервы, – да спать потом жёстко бывает. Факт!... Короче, за версту их обходите, парни, за десять вёрст, – обращались они назидательно к разинувшим рот пацанам, что с замиранием сердца смотрели своим великовозрастным витиям в рот, байки их сладкоголосые запоминали-слушали. – Ничего хорошего вам бабы не принесут: это веками проверено...»

В таком вот духе и под диктовку такую Андрей и воспитывался всегда, с малолетства впитывал-поглощал подобную науку жизни. И потому гулявших с девчонками под руку пареньков неизменно высмеивал-презирал, слабыми их считал, мягкотелыми, державшимися за бабью юбку.

На это накладывались, плюс ко всему, и не буйная его физиология, инстинкт основной – крайне вялый, аж до последнего курса МАИ дремавший. Не испытывал он потребности в противоположном поле, в общении, дружбе с ним; наоборот – одну только неприязнь с малых лет испытывал. Дружбу с девушками считал дикостью, неким пороком, ущербностью даже, что оскорбляли мужское достоинство, слабили крепость духа, порочили честь... Оттого и грубость его напускная, подчёркнутая происходила, что геройством, повторимся, почиталась у них во дворе, чуть ли ни главным признаком мужественности.

И вдруг, всегда презиравший девчонок до глубины души и против целомудренной заповеди не погрешивший ни разу, даже и мысленно ни разу не изменивший ей, он вдруг учудил такое! Прилюдно, можно сказать, обабился, добровольно сам себя опустил, выйдя на танец самостоятельно; их не писанный дворовый кодекс чести этим действием нарушил, негласный мужской устав взаимопомощи, верности, дружбы поправил, добровольно, по сути, тот устав растоптал и предал. Почему?! зачем?! для какой-то цели?!

Непостижимо! необъяснимо! чудно! чудно ему было его поведение!...

За такими мыслями и переживаниями трудными и пролетела для Мальцева вторая неделя. Все думы его деревенские, нешуточные, были о ней, неприступной красавице Наташе. Нужна ли она ему? – работал и думал он, – и для чего нужна? Обидел ли он её прошлый раз? хоть немножко запомнился ли? И, наконец, с кем она танцевала после его ухода? и часто ли? Появился ли на танцах у неё ухажёр?

Всю неделю он изо всех сил пытался уговорить-убедить себя, топором остервенело махая или хлебная пшеница, либо зубы перед сном начищая до блеска, что правильно сделал он что ушёл, что не нужна, вредна ему вся эта морока амурная, канитель. Не дорос он ещё до любви: глуп ещё очень и зелен. Он прикидывал-взвешивал скудным своим умом, сколько у них работало в отряде парней. И какие то были парни! Красавцы писанные, орлы, что были и взрослее его, и достойнее! Наташе, преследуй она подобную цель, было из кого выбирать, пока он в школе на койке, раздосадованный, валялся. Было с кем веселиться, гулять, с кем, при желании, невеститься-жениться.

«Она и выбрала себе, небось, – думал он расстроено и обречённо. – И пусть будет счастлива, значит, пусть. Пусть гуляет, милуется, выходит замуж потом; пусть суженым своим гордится...»

Но как только он доходил до такого прогноза, предчувствия неутешительного, что не видать ему больше девушки как своих ушей, и она его с неизбежностью должна предпочесть другому, куда более её красоты достойному; и что надо смириться, поэтому, и не роптать, принимать всё как должное и естественное; как сладкий сон, например, который пришёл и ушёл, и почти тут же забылся; и ждать от которого глупо чего-то, каких-то важных для себя перемен, – так вот на Андрея после таких заключений панических вдруг такая накатывала тоска, такая захлёстывала обида жуткая и глубокая, что все его прежние утешения и увещания, весь волевой настрой летели коту под хвост. Пошлыми и упадническими становились внутри, а порою и вовсе невыносимыми.

«Неужели же так и кончится всё у нас, ещё и не начавшись даже? – как ребёнок капризный думал он, чуть не плача, работу, трапезу останавливая, прерывая полуночный сон. – И неужели ж Наташу я не увижу больше?... Жалко это, обидно до слёз! Когда и где я другую такую девушку встречу?...»

В субботу, закончив работу в полдень и помывшись в бане опять, наскоро пообедав, он уехал в поле верхом на лошади и катался до ужина, до шести часов. После чего в лагерь поспешно вернулся и стал усердно к танцам готовиться, жутко при этом нервничая отчего-то, отвечая приятелям невпопад. Катаясь, для себя решил так, что пойдёт сегодня на танцы последним, переждав предварительно, чтобы все в клуб зашли и танцевать начали. А он потом, незаметно подойдя к клубу, посмотрит в окошко, проверит: пришла ли туда Наташа? и есть ли у неё ухажёр? Если есть, если ей уже понравился кто-то, кто крутится рядом и развлекает её, счастливую, веселит, – значит делать там ему и надеяться уже будет не на что. Точка! Он тогда развернётся и уйдёт домой. И про клуб и Наташу навсегда забудет, исключительно на одну работу настроится. Что будет ему во всех отношениях лучше – полезнее, выгоднее и важнее...

11

Он всё так и сделал в точности, как днём решил: в лагере задержался нарочно – подождал, пока все уйдут; а минут через тридцать и сам направился следом, трясясь от страха и волнения так, как ранее и на вступительных экзаменах в институт не тряся. Он ненавидел за это себя, глубоко презирал, последними обзывал словами, – но справиться, унять волнение так до конца и не смог: состояние его тогдашнее, критическое, было ему не подвластно.

План его удался на славу – не зря он думал над ним так долго, так тщательно всё считал, – потому как, остановившись возле окна и едва-едва к стеклу прислонившись, он, ещё и отдышаться как следует не успев, колотившееся сердце унять, сразу же Наташу в окошке увидел, которая у противоположной стены одиноко стояла и, как показалось, кого-то ждала, напряжённо на выход смотрела. Стояла одна в этот раз – без подружек, которых всех разобрали столичные пареньки. И ни с кем почему-то не танцевала. Только поясok свой нервно опять теребила, да губки пухленькие покусывала...

«Кого это она ждёт, интересно? И почему не танцует, стоит и грустит у стены? – взволнованно стал думать-гадать застывший у окошка Андрей, прищуренных глаз с неё не спуская. – Наши-то ухари все в клубе давно, все веселятся. В общежитии никого не осталось, по моему...»

И пока он так стоял и гадал, звучащая музыка оборвалась, наступила пауза небольшая, заставившая танцующих остановиться и разойтись, перевести дух в сторонке, расслабиться и успокоиться. Чтобы через минуту-другую вновь в центре клуба сойтись, в любовном танце соединиться.

В окно было видно, как в этот переходный момент к Наташе Юрка Гришаев вдруг подошёл и стал уговаривать её потанцевать с ним, видимо. Но она так решительно затрясла головой, так грозно и строго на него посмотрела, ни единого шанса ему не дала, что он отпрянул, растерянный, и на другой конец зала тут же ушёл, в толпе приятелей поспешив затеряться... Следом перед ней Тимур Батманишвили встал, её от Андрея спиной заслоняя, и с минуту наверное так стоял, склонив голову, в свою очередь о чём-то её упрасывая...

Но вот отошёл, расстроенный, и Тимур, Наташу Андрею во всей её потрясающей красоте открывая. И просветлённый Андрей улыбнулся, душой успокоился и воспрял после его ухода; в то же время не понимая, не имея сил отгадать: кого ж это она ждёт-то?

И следующий танец его избранница одиноко простояла у стенки, глаз не отводя от дверей. Что наблюдать было совсем уж чудно и странно! И как только в клубе очередная пауза образовалась, вслед за которой аккорды новой песни послышались, Андрей вдруг ошалело сорвался с места и, чувству внутреннему повинуюсь, мало ему самому понятному, в помещение сломя голову бросился, словно бы опоздать боясь.

Там он, парней и девчат расталкивая, к Наташе соколом подлетел, остановился перед ней робко, перед её очами ясными. «Здравствуйте, – поздоровался надтреснутым от волнения голосом, – разрешите на танец Вас пригласить?» – предложил с жаром... И услышал в ответ желанное: «Конечно», – сказанное, как ему показалось, с приподнятым чувством. По голосу девушки и взгляду нежному так, во всяком случае, можно было судить...

Они вышли, трепещущие, на середину зала, приобнялись нежно, соединились в танце. И Андрей, духами терпкими одурманенный, предельно счастливый, светящийся и куражный, сразу же каяться кинулся за недостойное поведение, что он неделю назад учудил.

– Наташ! – затараторил он, заглушая музыку и на партнёршу виновато поглядывая. – Вы простите меня пожалуйста за прошлый раз: что подлетел к Вам как чумовой, и куда-то там стал приглашать Вас с дуру! Я не знаю даже, какая муха меня тогда укусила: я в жизни-то не такой – не такой нахальный и самонадеянный!

– Вы напрасно извиняетесь, – спокойно ему Наташа ответила, на Андрея просто и прямо взглянув. – Ничего такого страшного Вы не сделали, и ни сколько, поверьте, не оскорбили меня... А погулять, – добавила она, чуть подумав, – погулять давайте сейчас пойдём. Если хотите, конечно, если не передумали?

– Хочу, очень хочу! – ошалело затряс головою Мальцев, не веривший своим ушам.

– Хорошо, – доброжелательный ответ последовал. – После танца этого и пойдём: я готова...

Когда танец закончился, наконец, толкотнёй беспорядочной обернувшись, беспорядочными из угла в угол хождениями, они, уже сговорившиеся, к выходу вместе пошли под удивлённые взгляды заполнившей клуб молодёжи, под язвительные реплики и ухмылки, которые, впрочем, они пропускали мимо ушей, которые, к счастью, плохо до них доходили. Они пребывали в таком состоянии оба – возвышенно-сомнамбулическом, – что даже и родителей своих не заметили б, вероятно, окажись те на их пути.

На улице они медленно двинулись в сторону школы, что на другом конце деревни располагалась, и куда дорога от клуба вела: оба плохо соображавшие что-либо, плохо помнившие – только смех и музыку слышавшие за спиной, что их долго ещё преследовали. Потом это всё стихло само собой, клуб из виду пропал; пропали и местные жители, что гурьбою толпились у клуба. И они остались одни посредине деревни, совсем одни...

Перед обоими сразу же встала проблема: как им себя вести, что говорить друг другу, что делать, – проблема для молодых людей совсем, надо сказать, нешуточная и непростая, от решения которой зависело всё – все их дальнейшие, удачные или неудачные, отношения. Им-то хотелось каждому в самом выгодном свете друг перед другом предстать, всё самое лучшее, качественное и достойное, самое сокровенное на обозрение избраннику сердца выставить. И этим мил-дружка словно жемчугом или чем другим одарить, до глубины души порадовать-осчастливить, стёжку-дорожку единственную к сердцу его найти словом искренним, верным... Но как это было сделать без посторонней помощи, подсказки доброй, совета? – они не знали; не знали даже, что им за лучшее почитать, за безусловно выгодное и правильное. А выставяться глупыми или грубыми им не хотелось совсем, обижать не хотелось другого репликой неосторожной, пошлостью.

Вот они и молчали упорно весь вечер, окостеневшие, с мыслями рассеянными собирались, справлялись со стихийными чувствами. И потом истерично весь путь шлифовали и фильтровали мысли в своих кружившихся головах, и также истерично их от себя далеко прочь отбрасывали за ненужностью. Упорно мочала Наташа, от озноба всю дорогу ёжившаяся, натужно молчал Андрей: обоим было несладко.

Тут бы Мальцеву, конечно, неплохо было бы инициативу разговора в свои руки взять – как лидеру и мужчине, как инициатору, наконец, неожиданной встречи их и свидания. Но он был большим и глупым ребёнком ещё и не имел в подобного рода делах ни малейшего навыка, опыта. Он попробовал было, сбиваясь, про погоду разговор завести, про красоту деревни. Но так это глупо у него получилось, коряво и пошло одновременно, что он, почувствовав это, быстро тогда затих и шёл потом всю дорогу молча, индюка надувшегося напоминая... Он подружку про главное забыл даже спросить: местная она или приезжая? а если приезжая, то откуда? Не из Москвы ли самой? не землячка ли? Его будто заклинило изнутри, работу сознания, речи парализовало. И придумать путного в тот момент он так ничего и не смог: ему даже и простое-то слово произнести было очень и очень сложно...

Так они и проходили молча весь вечер, истомились, измучились оба, лицами почернели как два врага. И даже и в росте уменьшились будто бы – так со стороны показалось. И когда Андрей подружку осунувшуюся к дому её подводил, добротному красивому зданию из красного кирпича, на высоком фундаменте выстроенному, он уже был твёрдо уверен, расстроенный, точно знал, что это – последняя их прогулка. И больше его спутница ясноглазая с ним гулять не пойдёт никогда, не станет себя подобною пыткой мучить.

Каково же было его удивление, когда остановившаяся возле калитки Наташа, подурневшая от усталости и напряжения, всю красоту по дороге будто бы вдруг растеряв, вдруг спросила, на ухажёра косноязычного посмотрев с укором:

– Вы будете в клубе в следующую субботу?

– Не знаю. Буду, наверное, – неуверенно ответил Мальцев, с виноватым видом перед девушкой застыв, как и она некрасивый, предельно уставший.

– Приходите, – услышал он далее совсем уж невероятное. – Я буду Вас ждать...

После этого они простились быстро, без сожаления, и Наташа за калитку зашла, в дом поднялась по крыльцу и скрылась за резной дверью. А проводивший её взглядом Андрей, развернувшийся и засеменивший в школу, только головою тряс всю дорогу, вздыхал протяжно и тяжело, как дурачок лыбился и скалился, не понимая совсем ничего, понять и не пытаясь даже.

Но настроение у него поднялось, однако, чуть-чуть просветлело в душе. Потому что он почувствовал, договор на будущее держа в уме, что не всё у него, бедолаги, плохо, не всё безнадежно, как оказалось. И окончательной ясности в этом наитруднейшем деле нет никакой: ясность, скорее всего, в следующую субботу наступит.

«...А раз так, – устало подытожил он уже в лагере, на небо звёздное посмотрев и звезду Полярную, путеводную, там разыскав по привычке, свою судьбу по ней, прорицательнице, пытаюсь будто бы предугадать, дальнейший ход событий, – то значит и голову пеплом рано ещё посыпать, рано скулить и хныкать, Андрюха!... Ждать просто надо, не суетясь, что у нас дальше будет...»

12

В третью сырлипкинскую субботу, в общей массе товарищей шагая на танцы, он увидел Наташу ещё на подходе к клубу: она прогуливалась взад-вперёд у крыльца, – увидел – и сердцем за неё в третий раз пораздовался, истому сладкую ощутив, морозный озноб по коже. До чего же красивая она опять была, в дорогой джинсовый костюм светло-голубого цвета одетая, сидевший на ней как влитой, бледно-розовый топик тончайшего хлопка, что грациозно выглядывал из-под распахнутой настежь куртки, животик её упругий лишь слегка прикрывал, просвет небольшой над брюками оставляя – такой соблазнительный для парней, такой аппетитный и возбуждающий. Подходившему к клубу Андрею оставалось только дивиться, с каким исключительным вкусом всё это было подобрано, как вся одежда Наташи безукоризненно подходила ей – будто бы из неё самой вырастала; как бесподобно возвышали и красили её, наконец, золотисто-жёлтые волосы, мантией развевавшиеся за спиной. Молодые стройотрядовцы, что шагали рядом, только язычками защёлкали от удовольствия, глаза восхищённые широко раскрывая и затихая как по команде, в один созерцательный обращаясь порыв...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.